



А Й Р И С

МЕРДОК

ПОД СЕТЬЮ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Айрис Мердок Под сетью

Серия «Эксклюзивная классика (АСТ)»

*Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=176477
Под сетью. Роман: АСТ; Москва; 2022
ISBN 978-5-17-147205-4*

Аннотация

Роман «Под сетью», дебют Мердок в художественной литературе, является одним из самых известных ее произведений, которое остается по-прежнему современным благодаря образу главного героя Джейка Донагью.

Переводчик и прозаик Джейк умен, ироничен, талантлив, но при этом ленив, и обладает удивительным свойством просто плыть по течению жизни, не столько не умея, сколько попросту не желая бороться с судьбой. Ему совершенно все равно, как зарабатывать на жизнь – дешевой ли литературной поденщиной, тяжелым ли трудом санитаря в больнице. Максимум, которым он готов озадачиться, – поиски недорогой квартиры. Однако неожиданная встреча с молодой женщиной по имени Анна Квентин становится для Джейка судьбоносной – его жизнь начинает опутываться сетью поразительных событий, принимающих все более неожиданный, почти сюрреалистический оборот...

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	34
Глава 3	51
Глава 4	74
Конец ознакомительного фрагмента.	97

Айрис Мердок

Под сетью

Роман

*Все сплошь до конца – потери:
Погоня твоя – за зверем!
В любви изменили все,
Никто не остался верен.
И войны твои – впустию.
Одно хорошо – все минует
И старому веку на смену
Увидим пору иную.*

Драйден. «Светская маска»

Iris Murdoch
Under the Net

* * *

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© Iris Murdoch, 1954

© Перевод. М. Лорие, наследники, 2022

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

Глава 1

Финн ждал меня на углу, и при виде его я сразу понял, что дело неладно. Обычно Финн ждет меня в постели или прислонившись к дверному косяку и закрыв глаза. К тому же меня задержала забастовка. Я и всегда-то ненавижу обратный путь в Англию и бываю безутешен до тех пор, пока мне не удастся уйти с головой в любимый Лондон и я уже не помню, что уезжал. А тут можете себе представить, как мне было весело, когда пришлось болтаться без дела в Ньюхейвене, дожидаясь, пока опять пойдут поезда, а из ноздрей у меня еще не выветрился запах Франции. В довершение всего коньяк, который я всегда провожу благополучно, отобрали на таможне, так что, когда закрылись рестораны, я оказался целиком во власти мучительного болезненного самоанализа. Бодрящей объективности отрешенного созерцания человек моего склада не способен достигнуть в незнакомом английском городе, даже когда ему не нужно вдобавок тревожиться о поездах. Поезда вообще не полезны для нервов. Про что людям снились кошмары, когда еще не было поездов? По всем этим причинам, вместе взятым, мне не понравилось, что Финн ждет меня на улице.

Увидев Финна, я сейчас же остановился и поставил чемоданы на землю. Они были набиты французскими книгами и очень тяжелые. Я крикнул: «Эй!» – и Финн медленно дви-

нулся ко мне. Финн никогда не торопится. Мне трудно бывает объяснить наши с ним отношения. Нельзя сказать, чтобы он был мой слуга. Зачастую его скорее можно назвать моим импресарио. Иногда я его содержу, иногда он меня – смотря по обстоятельствам. В общем, всякому ясно, что он мне неровня. Его имя – Питер О’Финни, но это нестрашно, все зовут его просто Финн, и он приходится мне каким-то дальним родственником – так по крайней мере он утверждает, а мне лень проверять. Но у людей всегда создается впечатление, что он мой слуга, у меня и у самого бывает такое впечатление, хотя объяснить, почему это так, я бы не взялся. Иногда я приписываю это тому, что Финн – смиренное существо, что он как-то невольно остается в тени и играет вторую скрипку. Если нам не хватает кровати, на полу всегда спит Финн, и это кажется вполне в порядке вещей. Правда, я вечно даю Финну распоряжения, но только оттого, что сам он, по-моему, не умеет придумывать, чем заняться. Некоторые мои знакомые считают, что у Финна не все дома, но это неверно: он отлично соображает, что к чему.

Когда Финн подошел наконец ко мне, я указал ему на один из чемоданов, но он его не поднял. Вместо этого он сел на него и обратил на меня взгляд, полный печали. Я сел на второй чемодан, и некоторое время мы сидели молча. Я устал, мне не хотелось расспрашивать Финна – подожду, пока сам расскажет. Он обожает неприятности, все равно, свои или чужие, и особенное удовольствие ему доставляет сообщать

дурные вести. Финн довольно красив – долговязой, меланхолической красотой; у него длинные прямые темные волосы и костлявое ирландское лицо. Он на голову выше меня (я невысок ростом), но немного сутулится. От его скорбного взгляда у меня упало сердце.

– Что случилось? – спросил я наконец.

– Она нас гонит с квартиры, – отвечал Финн.

Принять это всерьез было невозможно.

– Перестань, – сказал я ласково. – Кроме шуток, что это значит?

– Велит нам выметаться, – сказал Финн. – Обоим. Сегодня. Сейчас же.

Финн любит каркать, но он никогда не лжет, даже не преувеличивает. Однако я все еще отказывался верить.

– Но почему? Что мы такого сделали?

– Мы-то ничего не сделали, а вот она хочет кое-что сделать. Решила выйти замуж.

Это был удар. Я дрогнул, но тут же сказал себе: а почему бы и нет? Я справедлив и терпим. И в следующую минуту я уже прикидывал, куда нам податься.

– Но она мне ничего не говорила, – сказал я.

– Ты не спрашивал.

Это была правда. За последнее время личная жизнь Магдален перестала меня интересовать. Если она вздумала обручиться с другим мужчиной, винить в этом я мог только себя.

– Кто он? – спросил я.

– Какой-то букмекер.

– Богатый?

– Да, у него своя машина.

Это был критерий Финна, а в то время, пожалуй, и мой тоже.

– От этих женщин можно заболеть, – сказал Финн. Съезжать с квартиры улыбалось ему не больше, чем мне.

Я опять помолчал, ощущая тупую физическую боль, в которой ревность и уязвленное самолюбие мешались с горьким чувством бездомности. Вот мы пыльным, жарким июльским утром сидим на Эрлс-Корт-роуд на двух чемоданах, и куда нам теперь деваться? Так бывало всегда. Стоило мне с великим трудом навести порядок в своей вселенной и начать в ней жить, как она взрывалась, снова рассыпаясь вдребезги, и мы с Финном повисали в воздухе. Я говорю «моя» вселенная, а не «наша», потому что порой мне кажется, что внутренняя жизнь у Финна очень небогатая. Сказано это отнюдь не в обиду ему – у одних она богатая, у других нет. Я это связываю с его правдивостью. Люди с тонкой душевной организацией, вроде меня, слишком многое видят и потому никогда не могут дать прямой ответ. Разные стороны вопроса – вот это всегда меня терзало. И еще я связываю это с его умением объективно констатировать факты, когда тебе это меньше всего нужно – как яркий свет при головной боли. Возможно, впрочем, что Финн тоскует без внутренней жизни и потому прилепился ко мне – у меня-то внутренняя

жизнь очень сложная и многогранная. Как бы там ни было, я считаю Финна обитателем моей вселенной и не могу вообразить, что у него есть своя, где обитаю я; такое положение, видимо, вполне приемлемо для нас обоих.

До открытия ресторанов оставалось еще больше двух часов, а сразу встретиться с Магдален мне было страшновато. Она, конечно, ждала, что я устрою сцену, я же не чувствовал в себе для этого достаточно энергии, да и не представлял себе, какую сцену следовало устроить. Это еще нужно было обдумать. Выставить человека за дверь – лучший способ заставить его поразмыслить над тем, что осталось по ту сторону двери. Мне нужно было время, чтобы попытаться определить свой статус.

– Хочешь, выпьем кофе у Лайонса? – с надеждой спросил я Финна.

– Не хочу, – ответил Финн. – Хватит с меня того, что я тебя ждал, а она надо мной измывалась. Ступай поговори с ней. – И он пошел вперед. Финн обозначает людей не иначе как местоимениями или окликаками. Я поплелся за ним, стараясь выяснить, что же я собой представляю.

Магдален жила на Эрлс-Корт-роуд, в одном из этих отворотных домов-тяжеловесов. Она занимала верхнюю половину дома; там прожил и я больше полутора лет, и Финн тоже. Мы с Финном жили на четвертом этаже, в лабиринте мансард, а Магдален – на третьем (это, впрочем, не значит, что мы не виделись часто и подолгу, особенно внача-

ле). Я уже стал привыкать к тому, что здесь я у себя дома. К Магдален иногда приходили знакомые мужчины, я ничего не имел против и ни о чем не расспрашивал. Мне это даже нравилось, потому что у меня тогда оставалось больше времени для работы, или, вернее, для туманных и бесприбыльных размышлений, которые я люблю больше всего на свете. Мы жили уютно, как две половинки грецкого ореха в одной скорлупе. Мало того, я почти ничего не платил за квартиру, а это тоже плюс. Ничто меня так не раздражает, как платить за квартиру.

Нужно пояснить, что Магдален – машинистка в Сити, или, вернее, была, когда началась рассказанная здесь история. Однако это не самая характерная ее черта. Главное ее занятие – быть самой собой, и на это она тратит бездну времени и ухищрений. Свои усилия она направляет по линии, подсказанной дамскими журналами и кино, и если ей, несмотря на прилежное изучение самых модных канон обольстительности, не удалось окончательно себя обезличить, то объясняется это лишь каким-то не иссякающим в ней ключом врожденной живучести. Красивой ее назвать нельзя – это определение я употребляю скупно; но она миловидна и привлекательна. Ее миловидность – это правильные черты и превосходный цвет лица, который она прикрывает маской персикового грима, так что все лицо становится гладким и невыразительным, как алебастр. Ее завитые волосы всегда уложены по той моде, какая на данный день объявлена

самой последней. Они выкрашены в цвет золота. Женщины воображают, что красота – это наибольшее приближение к некой гармоничной норме. Они не делают себя неразлично похожими только потому, что у них нет на это времени, денег и технических возможностей. Кинозвезд, у которых все это есть, и в самом деле не отличишь одну от другой. Привлекательность Магдален – в ее глазах и в живости выражения и повадки. Глаза – единственное в лице, чего никак не скроешь; во всяком случае, такого средства еще не изобрели. Глаза, как известно, зеркало души; их нельзя закрасить или хотя бы побрызгать золотой пылью. У Магдален глаза большие, серые, миндалевидные и блестят, как камушки под дождем. Время от времени она зарабатывает уйму денег – не машинкой, а позируя фотографам; она вполне соответствует ходячему представлению о хорошенькой молодой женщине.

Когда мы явились, Магдален принимала ванну. Мы прошли в ее гостиную, которой электрический камин, кучки нейлоновых чулок и шелкового белья и запах пудры придавали необыкновенный уют. Финн плюхнулся на неубранную тахту, что строго запрещалось. Я подошел к двери ванной и крикнул:

– Мэдж!

Плеск прекратился, она сказала:

– Это ты, Джейк?

Бачок гудел как проклятый.

– Ну конечно, я. Послушай, в чем дело?

– Я не слышу, – сказала Магдален. – Подожди минутку.

– В чем дело? – снова прокричал я. – Ты что, правда выходишь за какого-то букмекера? Как ты могла не посоветоваться со мной?

Я чувствовал, что устроил вполне сносную сцену. Я даже ударил в дверь ванной кулаком.

– Ничего не слышу, – сказала Мэдж. Это была ложь – она хотела выиграть время. – Джейк, миленький, поставь чайник, мы попьем кофе. Я сию минуту выйду.

Из ванной Магдален выплыла на волне теплого, надушенного воздуха, как раз когда я заваривал кофе, и сейчас же юркнула к себе – одеваться. Финн поспешно встал с тахты. Мы закурили и стали ждать. Прошло еще немало времени, и вот Магдален появилась во всей красе и стала передо мной. Я смотрел на нее изумленный. Во всем ее облике произошла разительная перемена. На ней было облегающее шелковое платье дорогого и затейливого фасона и много драгоценностей, по виду не дешевых. Даже выражение ее лица как будто стало другим. Только тут я до конца понял, что сообщил мне Финн. Пока мы шли к дому, я был слишком поглощен собой, чтобы задуматься о том, как глупа и нелепа затея Мэдж. Теперь эта затея явилась мне в денежном выражении. Да, такого я не ожидал. Раньше Мэдж общалась со скучными, но гуманными дельцами, либо со служащими, тяготеющими к богеме, либо, на худой конец, с литературными поденщиками вроде меня. Какой же диковинный изъян в процессе рас-

слоения общества свел ее с мужчиной, который мог вдохновить ее на такие туалеты? Я медленно обошел вокруг нее, внимательно приглядываясь.

– По-твоему, я что, памятник Альберту? – сказала Магдален.

– Ну что ты, с такими-то глазами! – И я заглянул в их крапчатую глубину.

Тут меня пронзила непривычная боль, и я отвернулся. Нужно было лучше за ней следить. Метаморфоза, конечно же, подготовлялась уже давно, только я-то по своей тупости ничего не заметил. Такую женщину, как Магдален, не переделаешь за одни сутки. Кто-то тут поработал на совесть.

Мэдж с любопытством на меня посматривала.

– Что с тобой? – спросила она. – Ты болен?

Я вслух повторил свою мысль:

– Мэдж, я плохо о тебе заботился.

– Ты совсем обо мне не заботился, – сказала Магдален. – Теперь этим займется другой.

Смех ее звучал язвительно, но глаза были смущенные, и я уже готов был даже сейчас, на такой поздней стадии, сделать ей опрометчивое предложение. В странном свете, внезапно озарившем нашу прошлую дружбу, я увидел что-то, не замеченное раньше, и попытался мгновенно постичь, почему Магдален мне нужна. Но я тут же перевел дух и последовал своему давнишнему правилу – никогда не говорить с женщиной откровенно в минуты волнения. Ничего хороше-

го из этого не получается. Не в моей натуре брать на себя ответственность за других. Мне и со своими-то затруднениями дай Бог справиться. Опасная минута миновала, сигнал выключили, блеск в глазах Магдален погас, и она сказала:

– Налей мне кофе.

Я налил.

– Так вот, Джейки, – сказала она, – теперь ты понимаешь. Я прошу тебя забрать отсюда свое добро как можно скорее, хорошо бы сегодня. Все твои вещи я снесла к тебе в комнату.

И верно. Разнообразное мое имущество, обычно украшавшее гостиную, исчезло. Я почувствовал, что уже не живу здесь.

– Нет, не понимаю, – сказал я, – и очень прошу тебя, объясни.

– Увози все, – сказала Магдален. – За такси я могу заплатить. – Теперь она была совершенно спокойна.

– Будь человеком, Мэдж. – Я уже снова тревожился о себе, и от этого мне стало много легче. – Почему я не могу по-прежнему жить наверху? Я ведь не помешаю. – Но я и сам понимал, что это не годится.

– Ох, Джейк! – сказала Мэдж. – Ты просто болван.

Это были самые ласковые слова, которые я пока от нее услышал. Мы оба немного оттаяли.

Все это время Финн стоял, прислонившись к косяку и разглядывая какую-то точку в пространстве. Слушает он или нет, было непонятно.

– Ушли его куда-нибудь, – сказала Магдален. – От него дрожь пробирает.

– Куда я могу его услать? Куда нам с ним идти? Ты же знаешь, что у меня нет денег.

Это было не совсем так, но из осторожности я всегда притворяюсь, будто у меня нет ни гроша – такое впечатление обо мне может когда-нибудь и пригодиться.

– Вы взрослые люди, – сказала Магдален. – По крайней мере числитесь взрослыми. Можете решить сами.

Я глянул в сонные глаза Финна.

– Что будем делать?

Финна иногда осеняют удачные идеи, да и подумать у него было больше времени, чем у меня.

– Поедем к Дэйву, – сказал он.

Я не нашел что возразить, поэтому сказал: «Ладно» – и тут же заорал ему вслед: «Возьми чемоданы!», потому что он стрелой ринулся к двери. Иногда мне кажется, что Финн недолюбливает Магдален. Он вернулся, взял один из чемоданов и исчез.

Мы с Магдален посмотрели друг на друга, как боксеры перед началом второго раунда.

– Послушай, Мэдж, – сказал я, – не можешь ты меня выселить вот так, ни с того ни с сего.

– Ты и вселился ни с того ни с сего, – сказала Мэдж.

Это была правда. Я вздохнул.

– Поди сюда, – и я протянул ей руку. Она дала мне свою,

но рука была неподатливая и безответная, как вилка, и очень скоро я ее выпустил.

– Не устраивай сцен, Джейки, – сказала Мэдж.

В ту минуту я не мог бы устроить никакой, даже малюсенькой, сцены. Я почувствовал слабость и прилег на тахту.

– Так-так, – сказал я мягко. – Значит, ты меня выгоняешь, и притом ради человека, который наживаетея на чужих пороках.

– Все мы наживаемся на чужих пороках, – сказала Мэдж, напустив на себя ультрасовременный цинизм, что ей очень не шло. – И я и ты, а ты еще используешь даже худшие пороки, чем он. – Это относилось к тому разряду книг, какие я время от времени переводил.

– Кто хоть он есть? – спросил я.

Мэдж заранее пыталась прочесть на моем лице, какое впечатление произведет ее ответ.

– Его фамилия Старфилд, – сказала она. – Возможно, ты о нем слышал. – В глазах ее сверкнуло бесстыдное торжество.

Я напряг мускулы лица, чтобы лишить его всякого выражения. Вот оно что – Старфилд, Сэмюел Старфилд, Святой Сэмми, король букмекеров. Сказать про него «какой-то букмекер» было со стороны Финна некоторой натяжкой, хотя у него и до сих пор еще была контора вблизи Пикадилли и над дверью – его фамилия из электрических лампочек. Сейчас Старфилд занимался всем понемножку в тех сферах, какие доступны его вкусам и средствам: дамские туалеты, ночные

клубы, кино, рестораны.

– Понятно, – сказал я. Я не намерен был осчастливить Мэдж бурной демонстрацией. – Где же вы познакомились? Меня это интересует с чисто социологической точки зрения.

– Не знаю, что ты имеешь в виду, – сказала Мэдж. – Но если тебе так уж интересно, мы познакомились в одиннадцатом автобусе.

Это была явная ложь. Я покачал головой.

– Ты избрала карьеру манекенщицы, – сказал я. – Тебе предстоит посвятить все время тому, чтобы олицетворять кричащее богатство. – И тут же у меня мелькнула мысль, что такая жизнь, может быть, и не самая скверная.

– Джейк, уезжай, пожалуйста, – сказала Магдален.

– Как бы то ни было, – сказал я, – не здесь же ты будешь жить со Святым Сэмми?

– Эта квартира будет нам нужна, и я хочу, чтобы тебя здесь не было.

Ее ответ показался мне уклончивым.

– Ты сказала, что *выходишь замуж*? – спросил я. Меня снова кольнуло сознание ответственности. У нее не было отца, и я почувствовал себя *in loco parentis*¹. Другого *locus*'а у меня, в сущности, и не осталось. И теперь я сообразил, что Старфилд едва ли захочет жениться на такой девушке, как Магдален. Вешать на нее меховые манто можно было с таким же успехом, как на всякую другую живую вешалку. Но

¹ В роли отца (*лат.*).

эффектна она не была, как не была ни богата, ни знаменита. Славная, здоровая молодая англичанка, простая и милая, как майский праздник в деревне. У Старфилда, надо полагать, вкусы куда более экзотические и менее матримониальные.

– Вот именно, – сказала Мэдж подчеркнуто и все так же невозмутимо. – А теперь иди укладываться. – Но по тому, как она избегала встречаться со мной взглядом, было ясно, что совесть у нее неспокойна.

Она подошла к книжной полке.

– Тут, кажется, есть твои книги. – И она достала «Мэрфи» и «Pierrot mon ami».

– Освобождаем место для господина Старфилда, – сказал я. – А он читать умеет? И кстати говоря, он знает о моем существовании?

– Допустим, что знает, – увильнула Магдален, – но я не хочу, чтобы вы встречались. Поэтому я и посылаю тебя укладываться. С завтрашнего дня Сэмми будет проводить здесь много времени.

– Ясно одно, – сказал я. – Все зараз я перевезти не могу. Часть вещей я заберу сегодня, а за остальным приеду завтра. – Я не выношу, когда меня торопят. – И не забудь, – добавил я пылко, – что радиола моя. – Мысли мои неотступно возвращались к банку Ллойда.

– Хорошо, милый, – сказала Мэдж, – но если захочешь прийти завтра или позже, сначала позвони, и если ответит

мужской голос, клади трубку.

– Какая гадость, – сказал я.

– Да, милый. Такси вызвать?

– Нет! – крикнул я, выходя из комнаты.

– Если Сэмми увидит тебя здесь, – прокричала Магдален мне вслед, когда я уже поднимался по лестнице, – он свернет тебе шею!

Я взял второй чемодан, завернул и связал свои рукописи и вышел на улицу. Нужно было подумать, а в такси я не могу думать, потому что все время смотрю на счетчик. Я сел в 73-й автобус и поехал к миссис Тинкхем. Миссис Тинкхем держит газетную лавочку в районе Шарлотт-стрит. Это пыльная, грязная, невзрачная угловая лавчонка, снаружи у двери висит доска с объявлениями, а внутри продаются газеты на разных языках, дамские журналы, ковбойские и научно-фантастические романы и «Поразительные повести». Во всяком случае, все это разложено для продажи, вернее, кое-как свалено в стопки, хотя я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь что-нибудь купил у миссис Тинкхем, кроме мороженого, которым она тоже торгует, и еще «Ивнинг ньюс». Прочая литература годами лежит неподвижно, выцветая на солнце, разве что сама миссис Тинкхем вздумает почитать – такое на нее порой находит – и вытянет из кучи какой-нибудь пожелтевший от времени ковбойский роман, а дочитав до половины, скажет, что, оказывается, уже читала его, только все за-

была. Вероятно, она прочла уже весь свой товар – его немного, и пополняется он медленно. Несколько раз я видел у нее в руках французскую газету, хотя она и говорит, что не знает французского, но, может быть, она просто разглядывает иллюстрации. Кроме контейнера с мороженым в лавке стоят железный столик и два стула, а на полке – бутылки с красными и зелеными безалкогольными напитками. Здесь я провел немало мирных часов.

Лавка миссис Тинкхем отличается также тем, что она полна кошек. Неуклонно растущее кошачье семейство, происшедшее от одной огромной прародительницы, располагается на прилавке и на пустых полках в сонливом созерцании: янтарные глаза сужены и помаргивают на солнце – ленивые влажные щелки среди изобилия прогретой шерсти. Когда я прихожу, какая-нибудь кошка соскакивает ко мне на колени и, посидев сколько полагается, солидно и бесстрастно, ускользает затем на улицу любоваться витринами. Но ни одной из них я ни разу не встречал дальше чем за десять шагов от лавки. Посреди этого великолепия восседает сама миссис Тинкхем и курит сигарету. Я не знаю другого человека, который курил бы, как она, буквально не переставая. Она закуривает одну сигарету от остатка другой; как она утром закуривает первую – это для меня тайна, потому что, если попросить у нее спичек, их в доме никогда не оказывается. Однажды я застал ее в великом смятении и горе – очередная сигарета упала в чашку с кофе, а зажечь новую было нечем.

Может быть, она курит всю ночь, а может быть, в спальне у нее горит вечный огонь – какая-нибудь неугасимая сигарета. Эмалированный тазик у нее в ногах обычно до краев полон окурков; а рядом с ней, на прилавке, стоит маленький радиоприемник, который всегда включен, но самую малость, так что миссис Тинкхем проводит время среди своих кошек, окутанная табачным дымом, под непрестанный аккомпанемент чуть слышного музыкального бормотанья.

Я вошел, сел, как обычно, за железный столик и снял одну из кошек с ближайшей полки к себе на колени. Она тут же замурлыкала, как пущенная в ход машина. Я улыбнулся миссис Тинкхем – в тот день это была моя первая натуральная улыбка. На языке Финна миссис Тинкхем – занятная реликвия, но ко мне она была очень добра, а я никогда не забываю доброе отношение.

– Вот и вернулись домой, – сказала миссис Тинкхем, откладывая томик «Поразительных повестей», и еще немного приглушила радио, так что остался только невнятный шепот где-то на заднем плане.

– Да, к сожалению, – отвечал я. – Миссис Тинк, как бы стаканчик чего-нибудь?

Я уже давно храню у миссис Тинкхем запас виски на случай, если оно мне понадобится в медицинских целях, в спокойной обстановке, в центре Лондона, в неурочное время. Сейчас время было урочное, но мне нужна была успокоительная тишина лавчонки миссис Тинкхем, с мурлычущей

кошкой, шепчущим радио и самой миссис Тинк – языческой богиней, окутанной фимиамом. Когда я завел эту систему, я вначале после каждого раза делал на бутылке пометку, в то время я еще плохо знал миссис Тинкхем. По надежности ее можно приравнять к закону природы. И она умеет молчать. Однажды я случайно услышал, как один из ее странных клиентов после тщетных попыток что-то у нее выведать громко воскликнул: «Вы просто патологически деликатны!» И это истинная правда. Я подозреваю, что этим и объясняется успех миссис Тинкхем. Ее лавка служит так называемым передаточным пунктом и местом встречи для людей, которые любят вести свои дела под шумок. Интересно бы знать, в какой мере миссис Тинкхем осведомлена о делах своих клиентов. Когда я далеко от нее, я убежден, что она не так наивна, чтобы не представлять себе, что происходит у нее под носом. Когда же она рядом, она выглядит такой толстой и расплывчатой и моргает так похоже на своих кошек, что меня берет сомнение. Порой мне случается краем глаза подметить на ее лице выражение острой пронизательности; но как бы я быстро ни обернулся, я ни разу не успел прочесть на этом лице ничего, кроме безмятежной материнской озабоченности и более или менее рассеянного участия. Какова бы ни была истина, верно одно: никто никогда этого не узнает. Полиция давно махнула рукой на миссис Тинкхем: допрашивать ее значило даром терять время. Мало она знает или много, но ни разу на моей памяти ни ради выгоды, ни ради

сенсации она не показала своей осведомленности о том, что творится в тесном мирке, окружающем ее лавку. Неболтливая женщина – это жемчужина на черном бархате. Я глубоко уважаю и люблю миссис Тинкхем.

Она налила виски в картонный стаканчик и передала мне через прилавок. Сама она при мне не выпила ни капли спиртного.

– Коньяку не привезли, голубчик? – спросила она.

– На таможене отобрали, – сказал я и, отхлебнув виски, добавил: – Чтоб им пусто было! – сопроводив эти слова жестом, который охватывал таможеню, Мэдж, Старфилда и мой банк.

– Что случилось, голубчик? Опять настало трудное время? – спросила миссис Тинкхем, и, склонясь над стаканом, я успел заметить, что в ее глазах мерцает прозорливый огонек. – Ох уж эти люди, сплошные от них неприятности, верно? – добавила она тем масляным голосом, который, надо полагать, вынудил не одно признание.

Я уверен, что с миссис Тинкхем откровенничают почем зря. Бывало, что, входя в лавку, я безошибочно это чувствовал. Я и сам с ней откровенничал и думаю, что для многих своих клиентов она единственный человек, которому вполне можно довериться. Трудно предположить, чтобы такая роль не приносила известных материальных выгод, и деньги у миссис Тинкхем, безусловно, водятся – однажды она без единого слова дала мне займы десять фунтов, – но я уверен,

что деньги для нее не главное. Ей просто доставляет наслаждение быть в курсе чужих дел, вернее, жизней, потому что слово «дела» предполагает интерес более узкий и менее человеческий, нежели тот, который в эту минуту был сосредоточен на мне, если только я этого не вообразил. В самом деле, возможно, что истина относительно ее наивности или отсутствия таковой лежит где-то посередине, что она пребывает в мире чужих жизненных драм, где факты и вымысел почти неотделимы друг от друга.

Что-то тихо звучало у меня в ушах, может быть, радио, а может, это миссис Тинкхем колдовала, чтобы вызвать меня на откровенность; точно кто-то осторожно сматывал тонкую леску, на которой повисла вот-вот готовая сорваться редкостная рыбина. Но я крепился и молчал. Я хотел подождать, пока не смогу изложить свою историю более драматично. Тут намечались кое-какие возможности, но ничего еще не оформилось. Заговорив сейчас, я мог невзначай сказать правду; когда меня застигают врасплох, я обычно говорю правду, а что может быть скучнее? Я встретил взгляд миссис Тинкхем и, хотя глаза ее ничего не сказали, не сомневался, что она прочла мои мысли.

– Люди и деньги, миссис Тинк, – сказал я. – Не будь их, как хорошо было бы жить на свете.

– И еще зов пола, – сказала миссис Тинкхем; мы оба вздохнули.

– Котята за последнее время были? – спросил я.

– Нет, но Мэгги опять в интересном положении. Да, скоро, скоро будут у тебя детки! – обратилась она к раскормленной пестрой кошке, разлегшейся на прилавке.

– Думаете, на этот раз получилось?

Миссис Тинкхем уже давно убеждала своих кошек гулять с сиамским красавцем, проживавшим неподалеку. Правда, все ее уговоры сводились к тому, что она время от времени подносила какую-нибудь из кошек к двери и указывала ей на этого интересного мужчину со словами: «Погляди, какой там миленький котик!» – и пока что ничего из этого не выходило. Если вы когда-нибудь пытались привлечь внимание кошки к определенному предмету, то знаете, как это трудно. Она будет смотреть куда угодно, только не туда, куда вы указываете.

– Как бы не так, – сердито отвечала миссис Тинкхем. – У них у всех только и на уме что черно-белый кот из конинной лавки. Верно говорю, моя красавица, да? – снова обратилась она к будущей мамаше, а та в ответ вытянула вперед тяжелую лапу и вонзила когти в стопку «Nouvelles litteraires»².

Я стал разворачивать свой пакет. Кошка соскочила с моих колен и бочком выскользнула за дверь. Миссис Тинкхем сказала: «Так-то» – и потянулась к «Поразительным повестям».

Я быстро перебрал свои рукописи. Когда-то Магдален, обозлившись, разорвала первые шестьдесят строф эпической поэмы «А мистер Оппенгейм наследует землю». Поэ-

² «Новости литературы» (*фр.*).

ма писалась в те времена, когда у меня были идеалы. В те времена мне еще не стало ясно, что писать эпические поэмы в наш век невозможно. В те времена я наивно воображал, что нет оснований не пробовать свои силы в любом жанре, к которому тебя тянет. Ничто не действует так парализующе, как чувство исторической перспективы, особенно в литературе. Вероятно, в какой-то момент нужно просто отбросить всякие теоретические соображения. Я, например, сумел их отбросить чуть пораньше того момента, когда мне стало бы ясно, что в наш век невозможно писать романы. Однако вернемся к «Мистеру Оппенгейму». Мои друзья не одобрили это заглавие, усмотрев в нем антисемитский душок, хотя мистер Оппенгейм, разумеется, просто символизирует большой бизнес; но Мэдж разорвала поэму не за это, а со злости: я не пошел с ней завтракать, как условился, потому что должен был встретиться с одной писательницей. Встреча эта ничего мне не дала, а дома меня ждал «Мистер Оппенгейм», разорванный в клочья. Это было давно, но я опасался повторения. Кто знает, какие мысли бродили в голове у этой женщины, когда она принимала решение вышвырнуть меня на улицу? Если женщина наносит вам обиду, то обычно вы же и вызываете ее ярость. Я по себе знаю, как выводит из себя человек, которого бываешь вынужден обидеть. Поэтому я перебрал рукописи очень внимательно.

Все как будто было в порядке, если не считать одной недостатка. Не хватало написанного на машинке перевода «Le

rossignol de bois». Этот «Деревянный соловей» был третьим с конца романом Жан-Пьера Бретейля. Я делал его прямо на машинке. Я уже столько переводил Жан-Пьера, что теперь дело только за тем, чтобы как можно быстрее стучать по клавишам. Копирку я не выношу – руки у меня неловкие, а что такое листы копирки, вам известно, – поэтому у меня был всего один экземпляр. Но за него я не опасался, я знал, что если бы Магдален вздумала что-нибудь уничтожить, то выбрала бы не перевод, а одну из моих собственных вещей. Я решил забрать перевод в следующий раз – вероятно, он остался в бюро на третьем этаже. «Le rossignol» будет хорошо раскупаться, а значит, у меня будут деньги. Это роман о молодом композиторе, который лечится психоанализом и в результате творчески иссякает. Переводил я его с удовольствием, хотя это не более чем расхожее чтение, как и все, что пишет Жан-Пьер.

Дэйв Гелман уверяет, что я специализировался на Бретейле потому, что сам хотел бы писать такие книги, но это неверно. Я потому перевожу Бретейля, что это легко, и еще потому, что книги его на любом языке идут нарасхват. А потом, мне, как это ни противоестественно, просто нравится переводить: как будто ты открываешь рот, а говорит кто-то другой. Предпоследнему роману Жан-Пьера «Les pierres de l'amour»³, который я только что прочел в Париже, тоже был обеспечен успех. А совсем недавно вышел еще один, «Nous

³ «Камни любви» (фр.).

les vainqueurs»⁴, его я еще не успел прочесть. Я решил повидаться со своим издателем и получить аванс под «Деревянного соловья», а заодно продать ему идею, которая возникла у меня в Париже, – сборник французских рассказов в моем переводе и с моим предисловием. Ими-то и были набиты мои чемоданы. Это даст мне кое-какие средства к существованию. Что бы ни писать, лишь бы не свое, как говорит Дэйв. В банке у меня, по моим расчетам, оставалось фунтов семьдесят. Но теперь, когда на Эрлс-Корт-роуд мне больше не было ходу, первая и самая насущная задача состояла в том, чтобы найти дешевое и надежное пристанище, где можно жить и работать.

Вы можете подумать, что Магдален поступила жестоко, так бесцеремонно меня выгнав, а я со своей стороны проявил бесхарактерность, приняв это так покорно. Но Магдален вовсе не бандит. Это жизнерадостная, земная женщина, простая и сердечная, готовая услужить кому угодно, если только это не доставляет ей хлопот; о многих ли из нас можно сказать больше? У меня же в отношении Мэдж совесть была нечиста. Раньше я сказал, что почти ничего не платил за квартиру. Так вот, это не совсем верно, я не платил за квартиру ничего. Эта мысль меня слегка беспокоила. Принимать подачки от женщины вредит *locus standi*⁵. К тому же я знал, что Мэдж хочется выйти замуж. Она не раз давала мне это

⁴ «Мы, победители» (*фр.*).

⁵ Здесь: самоуважение (*лат.*).

понять, и думаю, она вышла бы замуж даже за меня. Только я-то хотел другого. По обоим этим причинам я понимал, что на Эрлс-Корт-роуд у меня нет ни малейших прав и что, если Мэдж ищет прочного существования, винить в этом я могу только себя; впрочем, я, кажется, был вполне объективен, считая, что Святой Сэмми – дело не верное, а, напротив, очень даже проблематичное.

Здесь, пожалуй, нелишним будет сказать несколько слов о себе. Зовут меня Джеймс Донагью, но пусть ирландская фамилия вас не смущает – в Дублине я был всего один раз, по пьяной лавочке, и в себя пришел всего два раза – когда меня выпускали из полицейского участка на Стор-стрит и когда Финн сажал меня на пароход, возвращавшийся в Англию. Это было в те дни, когда я много пил. Мне чуть больше тридцати лет, и я талантлив, но ленив. Живу я всякими литературными поделками и кое-что пишу всерьез, очень мало, как можно меньше. В наши дни литературной работой можно жить, только если работаешь с утра до ночи и согласен писать все, на что есть спрос. Я уже упоминал, что ростом я невысок, но точнее будет сказать, что я худощав и изящно сложен. У меня светлые волосы и резкие, как у фавна, черты лица. Я силен в дзюдо, а бокс не люблю. Важнее для этой повести то, что у меня истрепаны нервы. Как это случилось, не важно. Это другая история, а я вам рассказываю не всю историю моей жизни. Так или иначе, они истрепались, и выражается это, между прочим, в том, что я не могу подолгу

оставаться один. Вот почему мне так нужно общество Финна. Мы часами сидим с ним вдвоем, иногда в полном молчании. Я, скажем, думаю о Боге, о свободе, о бессмертии. О чем может думать Финн, понятия не имею. Но более того, я терпеть не могу жить в чужих домах, мне нужна защита. Следовательно, я паразит и обычно живу у кого-нибудь из знакомых. Это удобно и с финансовой точки зрения. Принимают меня охотно, потому что жилец я спокойный, а Финн может быть полезен по дому.

Предстояло решить нелегкую задачу – куда нам податься. Приютит ли нас Дэйв Гелман, было неясно. Я тешил себя этой мыслью, но не очень-то надеялся. Дэйв – старый друг, но он философ – не из тех, что толкуют про гороскопы и звериное число, а настоящий, как Платон или Кант, а значит, у него нет денег. Я чувствовал, что предъявлять Дэйву какие-либо требования не совсем этично. К тому же он еврей, настоящий, стопроцентный еврей, который соблюдает посты, верит, что грех неискупим, и считает неприличным рассказ о женщине, разбившей алебастровый сосуд с драгоценным елеем, и многие другие истории в Новом Завете. Но это бы еще ничего, хуже то, что он без конца спорит с Финном по поводу Святой Троицы, бесполезности чувств и понятия милосердия. Дэйв ничего не ненавидит так, как понятие милосердия, которое он приравнивает к своего рода духовному обману. Послушать Дэйва, так милосердие попросту порождает двуличие и представление, будто человеку

что угодно может сойти с рук. Он говорит, что люди должны руководствоваться четкими практическими правилами, а не туманным светом высоких понятий, которыми, по его мнению, прикрывают всевозможные излишества. Дэйв – один из немногих, с кем Финн ведет долгие беседы. Стоит, пожалуй, разъяснить, что Финн когда-то был католиком, хотя по темпераменту он методист – так мне по крайней мере кажется, – и с Дэйвом он проявляет красноречие. Финн вечно твердит, что вернется в Ирландию, чтобы жить в стране, где религия действительно что-то значит, но все не уезжает. Так что я решил, что у Дэйва будет не особенно спокойно. Я предпочитаю, чтобы Финн не говорил слишком много. Раньше я сам любил поговорить с Дэйвом о всяких отвлеченных материях. Когда мы познакомились, мне было приятно, что он философ, и я надеялся, что он откроет мне какие-нибудь важные истины. Я в то время читал Гегеля и Спинозу, хотя, признаюсь, мало что в них понимал, и все хотел обсудить их с Дэйвом. Но почему-то у нас ничего не выходило, и все наши диспуты сводились к тому, что я что-нибудь говорил, а Дэйв говорил, что не понимает, что я хочу сказать, и я повторял все сначала, а Дэйв сердился. Я не сразу сообразил, что, когда Дэйв говорил, что не понимает, что я хочу сказать, это значило, что я, по его мнению, сболтнул глупость. Гегель говорит, что Истина – великое слово и еще более великая вещь. С Дэйвом у нас дальше слова дело не двигалось, и я наконец отступился. Но все-таки я Дэйва очень люблю, у нас

есть и еще много тем для разговора, так что я не отказался от идеи вселиться к нему. Других идей у меня, впрочем, и не было. Придя к такому заключению, я достал из чемодана часть своих книг и вместе с пакетом рукописей оставил под прилавком у миссис Тинкхем. Потом я простился с ней и пошел закусить.

Глава 2

Некоторые части Лондона органичны, другие случайны. К западу от Эрлс-Корт-роуд все случайно, кроме нескольких мест у реки. Я терпеть не могу ничего случайного. Я хочу, чтобы на все в моей жизни имелись причины. Дэйв жил к западу от Эрлс-Корт-роуд, и в моих глазах это тоже было его минусом. Он жил близ Голдхок-роуд, в одном из тех больших красновато-черных домов, которые я хорошо помнил еще с мрачных дней моего лондонского детства. Дэйв, мне кажется, не очень чувствителен к своему окружению. Его, как философа, интересует центральный узел бытия (он, правда, не простил бы мне этого выражения), а не те беспорядочно висящие концы, которыми большинство из нас вынуждены развлекаться. К тому же он, будучи евреем, чувствует себя частью истории, не прилагая к тому особых усилий. В этом я ему завидую! Мне лично поддерживать связь с историей год от года труднее. В общем, Дэйву доступна такая роскошь, как случайное местожительство. Для себя я на этот счет сомневался.

Дом, где живет Дэйв, многоэтажный, но кажется низким рядом с соседним зданием – огромной новой белостенной больницей. В ней все просто и все оправданно, и меня, когда я прохожу мимо, бросает в дрожь. По темной, с цветными стеклами лестнице я поднялся до квартиры Дэйва и услышал

гул голосов. Это мне не понравилось. У Дэйва слишком много знакомых. Его жизнь – нескончаемый *tour de force*⁶ дружеской близости. Я, например, считаю, что дружить одновременно больше чем с четырьмя людьми безнравственно. А у Дэйва, судя по всему, близких людей больше сотни. У него широкий и постоянный круг знакомств среди интеллигенции и людей искусства, а вдобавок он знает уйму левых политических деятелей, в том числе таких оригиналов, как Лефти Тодд, лидер Новой независимой социалистической партии, и других чудаков, еще почище. Кроме того, имеются его ученики, и их друзья, и неуклонно растущая орава его бывших учеников. Чуть ли не все, с кем Дэйв когда-либо занимался, сохраняют с ним связь. Для меня это загадка – ведь мне, как я уже упоминал, Дэйв не мог ничего преподавать, когда мы беседовали на философские темы. Может быть, это объясняется тем, что я неисправимый художник, как он сам однажды воскликнул. Тут кстати будет добавить, что Дэйв не одобряет моего образа жизни и вечно уговаривает меня поступить на работу.

Дэйв – преподаватель университета, но занятия ведет на дому, и вокруг него группируется немало юношей, посвящающих часть своего времени поискам Истины. Ученики обожают Дэйва, хотя он ведет с ними непрестанную борьбу. Они тянутся к нему, как подсолнухи к солнцу. Все они прирожденные метафизики, так по крайней мере утвержда-

⁶ Фокус, трюк (фр.).

ет не без отвращения сам Дэйв. Мне бы казалось, что быть метафизиком замечательно, но у Дэйва это вызывает страстный протест. Для учеников Дэйва мир – тайна, к которой они считают возможным подобрать ключ. Ключ этот, надо полагать, содержится в какой-то книге страниц этак на восемьсот. Найти его, может быть, и нелегко, но ученики Дэйва убеждены, что, уделяя поискам от четырех до десяти часов в неделю, за вычетом университетских каникул, они своего добьются. Им не приходит в голову, что задача эта либо много проще, либо много сложнее. В известных пределах они готовы менять свои взгляды. Многие из них приходят к Дэйву теософами, а уходят от него рационалистами или брэдлеанцами. Интересно, что критика Дэйва часто действует как катализатор. Он жжет их с разрушительной яростью солнца, но от этого их метафизические устремления не вянут и не сгорают, а лишь переходят из одной стадии в другую, не менее активную. Это любопытное обстоятельство наводит на мысль, что Дэйв, в сущности, хороший педагог, хотя в том и нет его заслуги. Время от времени ему удается приобщить какого-нибудь свехвосприимчивого юношу к собственной философской школе лингвистического анализа, после чего означенный юноша, как правило, вообще перестает интересоваться философией. Наблюдать, как Дэйв обрабатывает этих молодых людей, все равно что следить за работой человека, подрезающего розовый куст. На удаление обречены все самые крепкие и пышные побеги. А позднее, возможно,

появятся цветы; но цветы, как рассчитывает Дэйв, не философские. Конечная цель Дэйва – отвлечь молодежь от философии. Меня он отваживает от нее с сугубым усердием.

Я в нерешительности остановился у двери. Ненавижу входить в комнату, полную народу, и чувствовать, как к тебе оборачивается целая портретная галерея незнакомых лиц. Я уже готов был повернуться и уйти, но потом, мысленно махнув рукой, все же вошел. Комната была битком набита молодыми людьми; они говорили все разом и пили чай, но относительно лиц я напрасно беспокоился – никто, кроме самого Дэйва, не обратил на меня внимания. Дэйв сидел в углу, немного в стороне от схватки, и, увидев меня, поднял руку важным жестом патриарха, приветствующего давно ожидаемое знамение. Я не хочу сказать, что по внешности Дэйв напоминает иудейского патриарха. Он уже начал понемножку толстеть и лысеть, у него веселые карие глаза и пухлые руки, говорит он чуть гортанным голосом и английским владеет не вполне свободно. Финн сидел рядом с ним на полу, прислонившись к стене и вытянув ноги вперед, как жертва уличной катастрофы.

Я пробрался между каких-то безусых юнцов, перешагнул через Финна и пожал Дэйву руку. Финна я дружески поддел ногой и уселся на край стола. Какой-то юноша машинально передал мне чашку чаю, не переставая говорить через плечо. Я расслышал: «*Должно быть* в конечном счете возвращает нас к *есть*». – «Да, но к какому *есть*?»

– Здесь, я вижу, все идет по-старому, – сказал я.

– Естественное проявление человеческой энергии, – ответил Дэйв, слегка нахмурясь. Потом он дружелюбно посмотрел на меня. – Я слышал, ты попал в переplet, – сказал он, немного возвышая голос над общим криком.

– В некотором роде – да, – осторожно сказал я, прихлебывая чай. С Дэйвом я никогда не раздуваю своих неприятностей – он относится к ним с насмешкой и без капли сочувствия.

– Я бы на твоём месте поступил на работу, – сказал Дэйв. Он кивнул на высокую белую стену больницы за окном, совсем близко. – Им там всегда нужны санитары. Ты мог бы стать даже братом милосердия. Или взять какую-нибудь работу на часть дня.

Дэйв вечно мне это советовал, почему – не знаю; казалось бы, меньше всего я мог последовать именно такому совету. Думаю, что он делал это отчасти для того, чтобы позлить меня. Для разнообразия он иногда расписывал мне, как привлекательна должность надзирателя при малолетних преступниках, или фабричного инспектора, или учителя начальной школы.

Я поглядел на стену больницы.

– Ради спасения души?

– Вовсе нет! – гневно возразил Дэйв. – Все ты носишься со своей душой. Как раз для того, чтобы думать не о своей душе, а о других людях.

Я понимал, что Дэйв в чем-то прав (хотя не нуждался в его указаниях), но не представлял себе, что сейчас можно принять в этом смысле. Финн бросил мне сигарету. Он всегда старался как-нибудь незаметно защитить меня от Дэйва. Насущной задачей было найти подходящее жилье, и, пока этот вопрос не был решен, остальное не имело значения. Чтобы сводить концы с концами, мне нужно все время писать, а в бездомном состоянии я ничем не могу заняться.

Я допил чай и отправился потихоньку обследовать квартиру Дэйва. Гостиная, спальня, запасная комната, ванная и кухня. Запасную комнату я изучил подробно. Окно ее тоже смотрело на стену больницы, которая в этом месте подходила чуть ли не вплотную. Комната выкрашена в художественный светло-коричневый цвет, обстановка спартанская. Сейчас здесь были свалены пожитки Финна. Ну что ж, бывает хуже. Я разглядывал гардероб, когда вошел Дэйв. Он отлично знал, что у меня на уме.

– Нет, Джейк, – сказал он. – Категорически нет.

– Почему?

– Нельзя двум таким неврастеникам жить вместе.

– Ах ты, старый удав! – сказал я. Дэйв никакой не неврастеник. У него вместо нервов канаты. Я, впрочем, не стал спорить, меня и самого этот проект не слишком увлекал – из-за Иеговы и Троицы. – Раз ты меня выселяешь, – сказал я, – тебе следует хотя бы выдвинуть какое-нибудь конструктивное предложение.

– Ты еще и не вселялся, Джейк, – сказал Дэйв, – но я подумаю.

Дэйв знает, что мне нужно. Мы вернулись в большую комнату и снова окунулись в шум голосов.

– Может, попытаться у дам, нет?

– Нет, – сказал я. – Это уже все было.

– Иногда ты мне противен, Джейк.

– Чем я виноват, что у меня такая психика? Ведь свобода – это в конце концов только идея.

– Это из третьей «Критики»! – прокричал Дэйв кому-то через всю комнату.

– Да и каких дам? – спросил я.

– Я твоих женщин не знаю, – сказал Дэйв, – но если ты наведишь одну-другую, кто-нибудь, возможно, подаст тебе хорошую мысль.

Я почувствовал, что мое общество будет приятнее Дэйву после того, как я сумею где-нибудь обосноваться. Финн, который теперь лежал головой под столом, внезапно произнес:

– Попробуй у Анны Квентин. – Финн иногда проявляет просто сверхъестественную интуицию.

Это имя вонзилось в меня, как стрела.

– Не могу, – сказал я и добавил: – Что-что, а это невозможно.

– Значит, все еще так, – сказал Дэйв.

– Вовсе не так. К тому же я понятия не имею, где она живет. – И я отвернулся к окну. Я не люблю, когда по моему

лицу о чем-то догадываются.

– Ну, поехал! – сказал Дэйв. Он хорошо меня знает.

– Давай другую идею, – сказал я.

– Другая идея, что ты дурак, – сказал Дэйв. – Обществу следует взять тебя за шиворот, встряхнуть хорошенько и заставить выполнять какую-нибудь полезную работу. Тогда вечерами ты мог бы написать толковую книгу.

Было ясно, что Дэйв в плохом настроении. Шум в комнате усиливался. Я задвинул ногой свой чемодан под стол, рядом с Финном.

– Можно оставить его здесь?

Кто-то спросил: «А откуда вы знаете, какое ваше „я“ настоящее?»

– Можешь оставить и чемодан, и Финна, – сказал Дэйв.

– Я тебе позвоню, – сказал я и ушел.

Мне все еще было больно от имени, которое произнес Финн. Но сквозь эту боль теперь звучала причудливая мелодия: серебряная дудочка звала меня за собой. У меня, конечно, не было ни малейшего намерения разыскивать Анну, но хотелось остаться одному с мыслью о ней. Я смотрю на женщин без мистики. Мне нравятся женщины в романах Джеймса и Конрада – они похожи на цветы, про них пишут «безыскусственность, глубина, доверчивость, покой». Особенно здорово звучит «глубина»: порхающие белые руки и глубока, как море. Но в жизни я таких женщин не встречал.

Я люблю про них читать, но ведь читать я люблю и про Пегаса и про Хрисаора. Женщины, которых я знал, часто бывали неопытны, косноязычны, легковверны и простодушны; но я не вижу оснований называть их глубокими за те свойства, которые в мужчине мы бы определили как поглощенность собой. А когда они хитрые, то обманывают себя и других примерно так же, как мужчины. Это тот же обман, в котором мы все участвуем; только женщину роль, которую ей приходится играть, иногда выводит из равновесия немножко больше, чем мужчину. Как туфли на высоких каблуках, из-за которых постепенно смещаются внутренние органы. Все эти воображаемые глубины мне противны до чрезвычайности.

А между тем в Анне я чувствовал глубину. Не знаю, чем объяснить это впечатление, но она всегда казалась мне существом бездонным. Дэйв как-то сказал, что назвать человека неисчерпаемым – значит попросту дать определение любви; если так, я, возможно, любил Анну. Говорит она чуть хрипловатым голосом, у нее нежно очерченное лицо, всегда освещенное изнутри теплым и ровным светом. Лицо, полное тоски, но без тени недовольства. Волосы у нее густые, темные, зачесаны кверху старомодными волнами – так, во всяком случае, было, когда я ее знал. А было это давно. Анна на шесть лет старше меня, и когда я ее впервые увидел, она исполняла вокальный номер со своей сестрой Сэди. Анна вкладывала в это предприятие голос, а Сэди – блеск. У Анны контральто, способное разбить человеку сердце даже

по радио; а если вдобавок видишь легкие жесты, которыми она сопровождает свое пение, то она совершенно неотразима. Она словно бросает песню прямо тебе в сердце; так по крайней мере она поступила со мной в первый раз, когда я ее слушал, и я уже не мог это забыть.

Анна похожа на свою сестру в такой же мере, как милый певчий дрозд похож на довольно-таки опасную тропическую рыбу, и со временем вокальный номер был отставлен. Случилось это, мне кажется, отчасти потому, что сестры не выносили друг друга, отчасти же потому, что устремления их были неодинаковы. Как вы, может быть, помните, английское кино в те дни переживало кризис. Только что была организована компания «Баунти – Белфаундер», а старое акционерное общество «Фантазия-фильм» перешло в новые руки. Но ни той, ни другой компании все не удавалось открыть новых звезд; старые, правда, сияли по-прежнему, и время от времени какой-нибудь девочке доставались обычные фанфары прессы, после чего она, блеснув в одной картине, угасала шумно и быстро, как фейерверк. Заправили «Фантазия-фильм», решив, очевидно, что на человеческом материале сборов не сделаешь, начали свою серию фильмов о животных и в животном царстве действительно обнаружили несколько сокровищ: в первую очередь, конечно, это была овчарка Мистер Марс, чьи хождения с сентиментально счастливым концом, вероятно, и уберегли их от банкротства. У Белфаундера дело с самого начала пошло успешнее;

этой компании Сэди вскоре и решила предложить на продажу свои таланты, и Сэди, как известно, вышла-таки в звезды.

Звезда – своеобразное явление. Это совсем не то же самое, что хорошая киноактриса; дело тут даже не в обаянии и не в красоте. Чтобы стать звездой, требуется некое чисто внешнее свойство, именуемое eclat. Eclat у Сэди был, так по крайней мере утверждала публика, я же предпочитаю слово «блеск». Вы, вероятно, уже поняли, что я не поклонник Сэди. Сэди вся лоснится и сверкает. Она моложе Анны, черты лица у нее такие же, только мельче и расположены теснее, как будто голову ей хотели сжать в кулачок, да так и не довели дело до конца. Голос ее в разговоре немного напоминает голос Анны, только вместо хрипотцы в нем слышен металл. Не хриплый шелест каштановой шелухи, а ржавое железо. Кое-кто и в этом находит очарование. Петь она не умеет.

Анна никогда не стремилась в кино. Не знаю почему – мне всегда казалось, что у нее для этого больше данных, чем у Сэди. Но возможно, что на первый взгляд ее облику не хватает определенности. Чтобы проникнуть в мир кино, нужно быть кораблем с очень острым форштевнем. Когда сестры расстались, Анна перешла на более серьезный репертуар; но чтобы продвинуться на этом пути, ей недоставало профессиональной подготовки. Когда я в последний раз о ней слышал, она исполняла народные песни в ночном клубе, и такое сочетание отлично выражало ее сущность.

Когда-то Анна жила в крошечной квартирке близ Бэйсу-

отер-роуд, зажатой со всех сторон другими домами, и там я часто у нее бывал. Я был очень к ней привязан, но даже тогда понимал, что характер у нее не идеальный. Анна – одна из тех женщин, которые не в силах сказать «нет», когда им предлагают любовь. И дело не в том, что это ей льстит. У нее талант к личным отношениям, и она жаждет любви, как поэт жаждет публики. Всякому, кто даст себе труд к ней привязаться, она сейчас же начинает уделять преданное, великодушное, сочувственное и начисто лишённое кокетства внимание, которое, однако, есть не что иное, как маневр с целью избежать капитуляции. Это, несомненно, тоже одна из причин, почему Анна не подалась в кино: личная жизнь, вероятно, отнимает у нее почти все время. Это же привело еще к одному печальному последствию – вся ее жизнь превратилась в сплошную измену; когда я ее знал, она вечно секретничала и то и дело лгала, чтобы скрыть от каждого из своих друзей, как она близка с остальными. Иногда, впрочем, она пробовала и другую тактику – притупляла боль ревности мелкими, упорными ударами до тех пор, пока ее жертва, оставаясь в полной ее власти, не смирялась с широким диапазоном ее привязанностей. Это мне не по вкусу, и я очень быстро разгадал ее игру. Но такое понимание не лишало ее в моих глазах таинственности, и ее эмоциональная щедрость не будила во мне протеста. Может быть, потому, что я всегда ощущал силу ее непритворной нежности – как теплый ветер, что веет с желанного острова и доносит до мореплава-

теля запах цветов и плодов. Я понимал, что, по всей вероятности, она точно так же обольщает и держит и других своих поклонников. Но это было мне безразлично.

Вам, может быть, хочется знать, не думал ли я о том, чтобы жениться на Анне. Да, я об этом подумывал. Но брак для меня – категория рассудочная, концепция, которая может упорядочить мою жизнь, но не заполнить ее. Думая о женщине, я невольно привлекаю возможность брака как полезную гипотезу, не применимую в каком-либо серьезном смысле к практической жизни. Однако в отношении Анны я был очень близок к тому, чтобы задуматься над этим всерьез; и хотя я уверен, что она бы не согласилась, все же именно поэтому я, возможно, в конце концов от нее и отдалился. Я ненавижу одиночество, но слишком большая близость меня страшит. Суть моей жизни – тайная беседа с самим собой, и превратить ее в диалог было бы равносильно самоубийству. Мне нужно общество, но такое, какое поставляет пивная или кафе. Я никогда не мечтал об общении душ. И себе-то самому говорить правду достаточно трудно. Анна же специализировалась на общении душ. К тому же Анну тянет на трагическое, и меня это нервировало. Она во всем готова была усмотреть тяжелую драму. Жизнь принимала остро и трудно. Я же считаю, что принимать так жизнь неумно. Точно дразнить опасного зверя, который в конечном счете все равно переломает тебе кости. И вот, прощаясь с Анной, когда она уезжала во Францию петь французские народные песни

во французских ночных клубах, я промямлил, что загляну к ней, когда она вернется, но она знала, что я не приду, и я знал, что она это знает. С тех пор прошло несколько лет, и я прожил это время тихо и мирно, особенно на Эрлс-Кортроуд.

Выйдя от Дэйва, я дошел до Шепердс-Буш и там сел в 88-й автобус. Я занял переднее место наверху, и по дороге некоторые из тех мыслей, что я здесь записал, пронеслись у меня в голове. Нелегко найти женщину, которую обронил в Лондоне несколько лет назад, тем более если она принадлежит к тому кругу, к какому принадлежала Анна; но ясно, что первым делом нужно посмотреть телефонную книгу. Поэтому я сошел с автобуса на Оксфорд-Сэркус и спустился в метро. Уходя от Дэйва, я не собирался разыскивать Анну, но к тому времени, как мы проехали Бонд-стрит, мне уже казалось, что ничем иным на свете вообще не стоит заниматься. Более того, я уже не понимал, как мне удалось столько времени просуществовать без нее.

Такой уж я человек. Я на долгие периоды оседаю и успокаиваюсь, и в такие периоды я пальцем не пошевелю, чтобы поднять с земли золотой. Когда я прикреплен, я неподвижен. Но открепленный, я летуч, и летаю с места на место, как волан или как электрон Гейзенберга, пока снова не осяду в каком-нибудь другом безопасном месте. И странным образом я верил в интуицию Финна. Не раз оказывалось, что, последовав его неожиданному совету, я делал как раз то, что нуж-

но. Я понимал, что фаза моей жизни, связанная с Эрлс-Корт-роуд, окончена и что *этого* душевного покоя мне не вернуть. Мэдж навязала мне внутренний перелом; что ж, я готов исследовать его до дна и даже извлечь из него все возможное. Кто скажет, какой именно день открывает новую эру? Я взял телефонную книгу Лондона, том от А до Л.

Телефонная книга ничего мне не сказала; этому я не удивился. Я позвонил в два театральные агентства, где не знали о местонахождении Анны, и в Би-би-си, где знали, но не пожелали сообщить. Я думал было толкнуться в Белфаундеровскую студию и, может быть, найти там Сэди, но мне не хотелось, чтобы Сэди знала, что я ищу Анну. Я подозревал, что Сэди одно время была ко мне не совсем равнодушна; во всяком случае, она в прежние дни откровенно не одобряла моей привязанности к Анне – правда, некоторые женщины в каждом мужчине видят свою личную собственность, – и я допускал, что она не скажет мне, где Анна, даже если и знает. Да я и не видел Сэди с тех пор, как она стала знаменитой, и не ожидал, что она благосклонно встретит мою попытку возобновить знакомство, в особенности если в прошлом она догадалась, что я догадался о ее чувствах или хотя бы вообразил их.

Рестораны только еще начали открываться. В такой час не было смысла обзванивать ночные клубы. Значит, не оставалось ничего другого, как прочесать Сохо. В Сохо всегда есть человек, знающий то, что тебе нужно узнать, все дело в том,

чтобы найти его. И был шанс просто встретить там Анну. Со мной всегда так бывает: стоит мне чем-нибудь заинтересоваться, как происходят десятки случайностей, имеющих к этому прямое отношение. Но я надеялся, что для начала не встречу Анну в общественном месте: моя фантазия уже много чего наплела вокруг этой встречи.

Обычно я стараюсь держаться подальше от Сохо: во-первых, этот район вреден для нервов, во-вторых, он очень дорог. А дорог он не столько потому, что из-за нервного напряжения приходится все время пить, сколько потому, что всякие люди отнимают у тебя деньги. Я не умею отказывать людям, которые просят у меня денег. Никогда не могу придумать, почему бы не отдать тем, у кого меньше наличных денег, чем у меня, хотя бы часть того, что при мне имеется. Я даю без охоты, но и без колебаний. К тому времени, как я прошел Брюэр-стрит и Олд-Комтон-стрит, а потом по Грик-стрит до «Геркулесовых столпов», разные знакомые успели выудить из моего кармана почти всю наличность. И я уже сильно нервничал – не только из-за Сохо, но и оттого, что, входя в очередной бар, всякий раз воображал, что увижу там Анну. За последние годы я бывал в этих местах сотни раз, и такая мысль даже не приходила мне в голову; но теперь Лондон внезапно превратился в пустую раму. Везде не хватало Анны, везде ее ждали. Я стал успокаивать себя спиртным.

Когда деньги кончились, я перешел улицу, чтобы разменять чек в одном из питейных заведений, где меня знали, и

тут-то я наконец попал на след. Я спросил у бармена, не знает ли он, где можно найти Анну. Он сказал, да, у нее, кажется, какой-то театрик в Хэммерсмите. Он порылся под стойкой и извлек карточку, на которой были напечатаны слова «Речной театр» и номер дома по Хэммерсмитской набережной. Бармен сказал, что не знает, там ли она еще, но несколько месяцев назад была там. Карточку она ему оставила для какого-то джентльмена, который так и не явился. Теперь он может отдать ее мне. Я взял карточку и с бьющимся сердцем вышел на улицу. Только серьезные размышления на тему о моих финансах помешали мне взять такси. Но до станции метро на Лестер-сквер я всю дорогу бежал бегом.

Глава 3

Дом, указанный в карточке, находился на том отрезке набережной, что тянется от харчевни «Горлицы» до «Черного льва». В Чизике дома смотрят на Темзу, но в той части Хэммерсмитской набережной, которая имеет отношение к моему рассказу, они стоят к реке спиной и притворяются обыкновенной улицей. Чизикская набережная – это ленивая вереница домов и садов, сонно глядящих в воду, а Хэммерсмитская – лабиринт водопроводных сооружений и прачечных, среди которых вкраплены кабаки да кое-где – дома начала прошлого века, повернутые к реке то лицом, то спиной. Под нужным мне номером значился дом, стоявший особняком, спиной к реке, а фасадом на тихий участок улицы; рядом с ним был проход, и несколько ступенек вели к воде.

Теперь я уже не так торопился. Я оглядел дом с недоверчивым любопытством, и он словно ответил мне тем же. Это был задумчивый дом, сосредоточенный в самом себе, отделенный от тротуара запущенным палисадником и каменной стенкой. Дом был квадратный, с высокими окнами, еще хранивший следы былой изысканности. Я подошел к железной калитке в стене и тут только заметил плакат, прикрепленный с другой стороны калитки. Плакат был написан от руки, краски слегка растеклись, и это придавало ему какой-то унылый вид. Текст гласил:

РЕЧНОЙ ТЕАТР ПАНТОМИМЫ

вновь открывается 1 августа

знаменитым фарсом Ивана Лазебникова

«Маришка»

в роскошной оригинальной постановке.

Вход только для членов.

Просьба к публике не смеяться громко

и не аплодировать.

мне странным. Наконец, чувствуя, как в сердце что-то медленно нарастает, я толкнул калитку – она слегка заржавела – и пошел к дому. Окна черно поблескивали, как глаза за темными очками. Дверь была только что выкрашена. Я не стал искать звонок, а сразу взялся за ручку. Дверь бесшумно отворилась, и я на цыпочках вступил в холл. Гнетущая тишина окутала меня, как облако. Я притворил за собой дверь, выключив все мелкие шумы улицы. Теперь не осталось ничего, кроме тишины.

Я постоял неподвижно, пока дыхание не стало ровнее и зрение не приспособилось к темноте холла. Все это время я недоумевал, почему веду себя так несуразно, но чувство, что Анна где-то рядом, сбивало меня с толку, и я не мог думать, а мог только совершать одно за другим те или иные действия, словно подсказанные необходимостью. Я медленно двинулся в глубь холла, осторожно ставя ноги на длинный черный ковер, поглощавший звук. Дойдя до лестницы, я заскользил вверх; вероятно, ноги мои касались ступеней, но я ничего не слышал.

Я очутился на широкой верхней площадке, позади меня тянулась деревянная балюстрада, передо мной – несколько дверей. Здесь было чисто, аккуратно прибрано. Ковры толстые, столбики балюстрады протерты до блеска. Я огляделся. Мне не приходило в голову усомниться в том, что Анна здесь, но не приходило в голову и позвать ее или вообще произнести хоть слово. Я подошел к ближайшей двери, рас-

пахнул ее настезь. И окаменел.

На меня смотрело семь или восемь пар внимательных глаз, расположенных, казалось, в нескольких футах от моего лица. Я невольно попятился, и дверь снова затворилась, едва слышно щелкнув, – это был первый звук, который я услышал с тех пор, как вошел в дом. Минуту я стоял, ничего не понимая, боясь дохнуть. Потом решительно взялся за ручку, снова отворил дверь и шагнул вперед. Те лица передвинулись, но по-прежнему были обращены ко мне; и тут я внезапно все понял. Я находился на балконе крошечного театра. Балкон был с покатым полом, и в ракурсе казалось, что он упирается прямо в сцену; а по сцене беззвучно двигались взад и вперед актеры в масках, повернутых к зрительному залу. Маски были больше чем в натуральную величину, поэтому, когда я в первый раз открыл дверь, мне и показалось, что они рядом. Теперь, осознав расстояние и перспективу, я с интересом стал разглядывать это удивительное зрелище.

Маски были не надеты на лица, а нацеплены на палки, которые актеры держали в правой руке; актер ловко сохранял свою маску в положении, параллельном рампе, так что лицо его оставалось невидимым. Почти все маски были сделаны анфас, только две – те, что носили единственные две актрисы, – в профиль. Они были выполнены гротескно, стилизованно, но отмечены своеобразной красотой. Особенно мне запомнились обе женские маски, одна – чувственная, безмятежно-спокойная, другая – нервная, настороженная, лживая.

У этих были сделаны и глаза, на мужских же масках глаза были прорезаны, и сквозь отверстия таинственно поблескивали глаза актеров. Все актеры были в белом, мужчины – в белых крестьянских рубахах и штанах, женщины – в простых белых платьях почти до пола, перехваченных в талии. Возможно, это и был знаменитый фарс Лазебникова «Маришка»: ни название это, ни фамилия автора ничего мне не говорили.

Тем временем актеры продолжали выполнять свои эволюции в той необыкновенной тишине, которая, казалось, околдовала весь дом. Я разглядел, что на них мягкие, облегающие ногу туфли, а пол на сцене затянут ковром. Они двигались, то плавно скользя, то неуклюже приседая, поворачивая скрытые масками головы из стороны в сторону, и я мысленно отметил выразительность шеи и плеч, в которой достигают такого совершенства индийские танцовщики. Лево́й рукой они делали разнообразные, но простые условные жесты. Такой пантомимы я никогда еще не видел. Она действовала завораживающе. Содержания я не понимал, но как будто получалось, что центральная фигура – огромного роста дородный мужчина, чья маска выражала смиренную и тоскливую глупость, – служит мишенью для насмешек остальных действующих лиц. Я внимательно разглядел обеих актрис – может быть, одна из них Анна? Но нет. Ее я узнал бы сразу. Потом мое внимание привлек дородный простак. Некоторое время я смотрел на его маску, за гротескной неподвижно-

стью которой сверкали живые глаза. Словно какая-то сила исходила от этих глаз и мягко, но упорно проникала в меня. Я все смотрел и смотрел. Что-то в этой грузной фигуре казалось мне смутно знакомым.

Но вот от одного движения скрипнули подмостки и колыхнулся задник. Я пришел в себя как от толчка и внезапно с тревогой сообразил, что актеры могут меня увидеть. На цыпочках я выбрался обратно на площадку и притворил дверь. Тишина накрыла меня, как колокол, но все кругом бесшумно вибрировало, и я не сразу понял, что это просто стучит мое сердце. Я оглядел остальные двери. На самой дальней белела записка. Крупными буквами было написано *Реквизит*, а ниже, шрифтом помельче – *Мисс Квентин*. На секунду я закрыл глаза и затаил дыхание. Потом постучал.

Стук эхом отдался в тишине. Хрипловатый голос сказал: «Войдите».

Я вошел в комнату. Комната была длинная, узкая, окнами на реку, и в ней царил многоцветный хаос, который я поначалу никак не воспринял. Посреди него, спиной ко мне, сидела за столиком Анна и что-то писала. Она медленно обернулась, и я закрыл за собою дверь. Долгую минуту мы молча смотрели друг на друга. Как вода наполняет стакан, так поднялась к глазам моя душа; и в щемящем спокойствии этой встречи мы оба пережили миг почти отрешенного созерцания. Анна встала, сказала: «Джейк!» И тут я ее увидел.

Она пополнела и не смогла или не захотела защититься

от времени. Было в ней что-то увядшее, бесконечно трогательное. Лицо, которое запомнилось мне округлым и мягким, как абрикос, стало чуть усталым, напряженным, шея выдавала ее возраст. Большие карие глаза, когда-то глядевшие на мир так прямо, теперь словно сузились, и у наружных их уголков, там, где Анна раньше продлевала их верху темным карандашом, годы нарисовали крошечный снопоморщинок. Пряди волос, выбившиеся из замысловатой короны прически, вились у нее на шее, и я заметил в них седые нити. Я смотрел на это лицо, когда-то такое знакомое, и, впервые поняв, что красота его смертна, чувствовал, что никогда еще не любил его так сильно. Анна поймала мой взгляд и быстро, словно спасаясь от опасности, закрыла лицо руками.

– Ты здесь зачем, Джейк? – сказала она.

Чары были нарушены.

– Хотел тебя повидать, – ответил я и тут же постарался не смотреть на нее и собраться с мыслями. Я окинул взглядом комнату. В ней громоздились кучи всевозможных предметов, местами доходившие до потолка. Все содержимое этой комнаты было в каком-то смысле однородно и слитно, оно, казалось, липло к стенам, как варенье в начатой банке. А между тем чего тут только не было! Точно огромный игрушечный магазин, в который попала бомба. На первый раз я успел заметить валторну, лошадь-качалку, набор жестяных дудок в красную полоску, шелковый китайский халат,

несколько ружей, яркие шали, плюшевых мишек, стеклянные шары, связки бус и других украшений, вогнутое зеркало, чучело змеи, множество игрушечных зверей и несколько железных сундуков, из которых выглядывали и свисали костюмы всевозможных цветов и оттенков. Изящные, дорогие игрушки лежали вперемешку с хламом из рождественских хлопушек. Я опустил на ближайшее сиденье – им оказалась лошадь-качалка – и продолжал осмотр.

– Что это за диковинное место? – спросил я. – Чем ты теперь занимаешься, Анна?

– Да всем понемножку, – сказала Анна. Она всегда так говорила, если хотела что-нибудь от меня утаить. Я видел, что она нервничает: говоря, она все время брала в руки то ленту, то шарик, то длинный кусок брюссельских кружев. – Как ты разыскал меня? – спросила она.

Я сказал.

– Зачем ты пришел?

Мне не хотелось пускаться в банальный диалог из вопросов и ответов. Не все ли равно, зачем я пришел? Я и сам не знал зачем.

– Меня выгнали с квартиры. – Это было не очень вразумительно, но ничего, кроме правды, как-то не пришло мне на ум.

– Вот как? – сказала Анна. Потом спросила: – Что ты подделывал все эти годы?

Я пожалел, что мне нечем ее удивить, но опять на ум мне

пришла только правда.

– Немножко переводил, – сказал я. – Немножко работал на радио. В общем, просуществовал.

Но я видел, что Анна не слушает моих ответов. Она взяла со стола пару красных перчаток, надела одну из них и, не глядя на меня, натягивала и разглаживала пальцы.

– Встречал за последнее время кого-нибудь из общих знакомых? – спросила она.

Я почувствовал, что на такой вопрос ответить не в силах.

– Какое кому дело до общих знакомых?

Что может быть мучительнее встречи после долгой разлуки, когда все слова падают на землю, как мертвые, а дух, который должен бы их оживлять, парит в воздухе, лишенный плоти? Мы оба ощущали его присутствие.

– Ты совсем не изменился, Джейк, – сказала Анна.

И верно, я выглядел почти так же, как в двадцать пять лет.

Она добавила:

– Жаль, что не могу сказать того же о себе.

– Ты выглядишь очаровательно.

Анна засмеялась и взяла в руки венок из искусственных цветов.

– Бог знает, на что похожа эта комната, – сказала она. – Я все собираюсь навести здесь порядок.

– И комната очаровательная.

– Ну, если ты *это* называешь очаровательным...

Она упорно не смотрела на меня. Еще минута – и мы бу-

дем беседовать спокойно, как двое старых знакомых. Этого я не намерен был допустить. Я посмотрел на нее. Среди упоительного хаоса шелков, зверей и всяких невообразимых предметов, достигавших ей чуть не до пояса, она казалась очень умной русалкой, выходящей из многоцветного моря, но через минуту она ускользнет от меня. Внезапно и мгновенно я осознал необычность всего этого дня; и тут же меня осенило. В прежние времена в гостиную Анны в Бэйсуотере смотрело столько чужих окон, что укрыться от них можно было лишь в одном уголке и притом на полу. Когда мне хотелось целовать Анну, я мог делать это только там. Тогда же я, не вполне бескорыстно, преподавал Анне основы дзюдо, и так у нас повелось, что, приходя, я хватал ее за руку, бросал в тот угол и целовал. Сейчас память об этом возникла во мне подобно вдохновению, и я двинулся к Анне. Я взял ее за запястье, на миг увидел совсем близко ее распахнутые тревогой глаза, а в следующую минуту я уже бросил ее, очень осторожно, на грудь бархатных костюмов в углу комнаты. Колено мое ушло глубоко в бархат рядом с ней, и на нас дождем посыпались шарфы, кружева, жестяные дудки, мохнатые собаки, маскарадные шляпы и еще невесть что. Я поцеловал Анну.

Глаза ее все еще были распахнуты, губы полураскрыты, с минуту она лежала в моих объятиях жесткая, как большая кукла. Потом она засмеялась, я тоже засмеялся, и оба мы долго смеялись от облегчения и радости. Я почувствовал,

как она вздохнула и обмякла, тело ее стало округлым и податливым, и мы поглядели друг другу в лицо и улыбнулись долгой улыбкой доверия и узнавания.

– Анна, родная моя! – сказал я. – И как я только мог без тебя жить! – Я нащупал какой-то сверток расшитого шелка и подsunул ей под голову вместо подушки. Она откинулась на него, долго смотрела на меня, а потом притянула к себе.

– Я много чего хочу рассказать тебе, Джейк, только сейчас, кажется, не могу. Я страшно рада тебя видеть. Ты ведь и сам это видишь, да? – Она заглянула мне в глаза, и я почувствовал знакомое дуновение теплого, пряного ветра. Конечно же, я в этом не сомневался.

– Жулик ты! – сказал я.

Анна подсмеивалась надо мной – так бывало всегда.

– Значит, какая-то женщина дала тебе отставку? – Она всегда наносила ответные удары.

– Ты же знаешь, что могла бы сохранить меня навсегда, если бы захотела. – Я не собирался ей это спустить, да и слова мои были более или менее правдой. – Я тебя любил, – добавил я.

– Ах, любовь, любовь! – сказала Анна. – Как мне надоело это слово. Что значила в моей жизни любовь, кроме скрипа лестниц в чужих домах? Что мне дала вся эта любовь, которую мне навязывают мужчины? Любовь – это преследование. А я хочу одного – чтобы меня оставили в покое, дали немножко полюбить самой.

Я хладнокровно глядел на нее, окружив ее голову руками, как рамкой.

– Если б ты хоть раз ощутила отсутствие любви, ты не стала бы от нее так отмахиваться.

Теперь она не отводила глаз, и во взгляде ее было что-то бесстрастное и оценивающее, чего я раньше не замечал.

– Нет, в самом деле, Джейк, – сказала она. – Все эти разговоры о любви так мало значат. Любовь – не чувство. Ее можно проверить. Любовь – это поступки, это молчание, тишина. Это вовсе не эмоциональные уловки и борьба за обладание, как тебе когда-то казалось.

Я нашел, что это глупые слова.

– Но любовь и означает обладание, – сказал я. – Ты бы это знала, если б имела понятие о неудовлетворенной любви.

– Нет, – неожиданно сказала Анна. – Неудовлетворенная любовь означает понимание. Только если есть полное, полное понимание, любовь, даже неудовлетворенная, остается любовью.

Я не слушал эту серьезную тираду – мое внимание задело слово «тишина».

– Что это за театр, Анна?

– Вот это как раз одна из тех вещей, Джейки, которые очень трудно объяснить. – Я почувствовал, как руки Анны сошлись у меня на пояснице. Она прижала меня к себе, а потом добавила: – Это маленький эксперимент.

Фраза эта меня резанула. Не похоже было, что ее произ-

несла Анна. Тут звучал чей-то другой голос. Я решил свернуть с этой дорожки.

– Как твое пение? – спросил я.

– О, с пением покончено. Я не буду больше петь. – Взгляд Анны улетел за мое плечо, и она разняла руки.

– Бог с тобой, Анна, почему?

– В общем, – сказала Анна, и опять я почувствовал в ее тоне что-то искусственное, – мне не по душе зарабатывать деньги таким способом. Петь, как я, – это очень уж... – она поискала слово, – неприкрыто. В этом нет правды. Попросту пускаешь в ход свое обаяние, чтобы соблазнять людей.

Я взял ее за плечи и встряхнул.

– Ты сама не веришь в то, что говоришь! – воскликнул я.

– Верю, Джейк! – Анна бросила на меня чуть ли не умоляющий взгляд.

– А театр? – спросил я. – При чем тогда театр?

– Это чистое искусство. Очень простое и очень чистое.

– Анна, кто тебя обработал?

– Джейк, ты всегда был такой. Стоило мне сказать что-нибудь, что тебя удивляло, и ты говорил, что кто-то меня обработал.

К концу нашего разговора она положила руку мне на плечо, так что ей были видны ее часы, и я заметил, что время от времени она скользит по ним взглядом. Это меня взбесило.

– Перестань смотреть на часы! – сказал я. – Ты меня не видела несколько лет. Неужели ты не можешь уделить мне

немного времени?

Я догадался, что очень скоро Анна намерена прервать наш tête-à-tête. Встреча наша шла по расписанию, о котором она ни на секунду не забывала. Вся жизнь Анны шла по расписанию; без часов она пропала бы, как монахиня. Я схватил запястье с часами и сжимал, пока она не стала морщиться от боли. Теперь она смотрела на меня пристально, тем ясным, вызывающим взглядом, который я помнил и любил с давних пор. Так мы с минуту глядели друг на друга. Мы хорошо друг друга знали. Я не выпустил ее рук, но ослабил хватку и поцеловал ее. Тело ее опять затвердело, но теперь было так, словно от меня ему передалась какая-то сила, и оно, как жесткая ракета, за которую я цеплялся, стремительно несло в пространстве. Я целовал ее напрягшуюся шею и плечо.

– Джейк, мне больно, – сказала Анна.

Я отпустил ее и без сил лежал у нее на груди. Она гладила меня по волосам. Мы долго лежали молча. Вселенная отдыхала, как большая птица.

– Сейчас ты скажешь, что мне надо уходить, – сказал я.

– Да. Вернее, мне самой надо уходить. Встань, пожалуйста.

Я поднялся с таким чувством, точно восстал от сна, и посмотрел на Анну. Она лежала среди пестрого хлама, как сказочная принцесса, свалившаяся с трона. Грудь и бедра тонули в шелках. Длинные волосы растрепались. Минуту она лежала неподвижно, и даже по выгнувшейся в подъеме ноге

было видно, что она ощущает мой взгляд.

– Где твоя корона? – спросил я.

Анна порылась в грудe шелков и извлекла золоченую корону. Мы рассмеялись. Я помог ей встать, и мы смахнули с ее платья крошки мишуры, золотую пыль и блески.

Пока Анна причесывалась, я бродил по комнате и все разглядывал. Мне сразу стало легко. Я знал, что еще увижусь с Анной.

– Объясни мне, что это за театр, – сказал я. – Кто здесь играет?

– Главным образом любители. Все мои знакомые. Но тут нужна совсем особая техника.

– Да, я это понял.

Анна быстро оглянулась на меня.

– Так ты входил в театр?

– Да, на одну минуту. А разве нельзя? Зрелище очень внушительное. Это что-то индийское?

– Связь с Индией есть, но по существу это нечто самостоятельное. – Я видел, что Анна думает о другом.

– Вот этот предмет бутафории вам едва ли понадобится, – сказал я, указывая на «гром».

На всякий случай поясню, что «гром» – это тонкий металлический лист величиной в два-три квадратных ярда; если его потряхнуть, он и правда громыкает, как далекие раскаты грома. Я подошел к нему.

– Не трогай! – сказала Анна. – Да, мы его продадим.

– Анна, ты не шутила насчет своего пения?

– Нет, – сказала она. – Это безнравственно. – И опять у меня появилось странное чувство, что я вижу человека в плену у какой-то теории. – Только очень простые вещи можно выразить без фальши, – добавила она.

– То, что я видел в театре, было не просто.

Анна развела руками.

– Зачем я тебе понадобилась?

Вопрос этот вернул меня на землю. Я ответил осторожно:

– Я хотел тебя видеть. Это ты знаешь. Но, кроме того, я должен решить, где мне жить. Может, ты мне посоветуешь. Здесь, наверно, мне нельзя поселиться? Где-нибудь на чердаке, например?

Анна поежилась.

– Нет, это невозможно.

Мы глядели друг на друга, быстро соображая.

– Когда я опять тебя увижу? – спросил я.

Лицо Анны стало жестким и отчужденным.

– Джейк, оставь меня на некоторое время в покое. Мне много о чем нужно подумать.

– Мне тоже. Могли бы подумать вместе.

Она улыбнулась бледной улыбкой.

– Если ты мне понадобишься, я тебя позову. Вполне вероятно, что так и будет.

– Надеюсь, – сказал я и записал ей на клочке бумаги адрес Дэйва. – Предупреждаю, что если я не понадоблюсь долго,

то явлюсь и без зова.

Анна опять смотрела на часы.

– Можно тебе написать? – спросил я. Опыт говорил мне, что если женщина сколько-нибудь заинтересована в том, чтобы сохранить свою власть над вами, то в этом она не откажет. Это связывает, не компрометируя. Анна, знавшая мое мнение на этот счет, как, впрочем, и насчет почти всех других предметов, внимательно поглядела на меня, и оба мы улыбнулись.

– Ну что ж, – сказала она. – Можешь писать на адрес театра.

Теперь она, легонько хмурясь, собирала свои вещи. Мне пришло в голову, что она озабочена тем, как бы незаметно выпроводить меня отсюда.

– Мне и сегодня негде спать, – сказал я (первая ложь). – Можно, я переночую здесь?

Анна опять бросила на меня внимательный взгляд, прикидывая, в какой мере я разгадал ее мысли. Помолчав, она сказала:

– Хорошо. И не провожай меня вниз. Только дай мне слово, что не будешь тут рыскать и завтра уйдешь рано утром.

Я дал слово.

– Посоветуй, где мне жить, Анна.

Я подумал, что раз она позволила мне переночевать в театре, то, может быть, смягчится и насчет чердака. Анна прибрала на столе и заперла ящики.

– Вот что, – сказала она. – Толкнись к Сэди. Она уезжает в Штаты, ей нужен кто-нибудь, кто бы мог сторожить квартиру. Может, ты ей подойдешь. – Она быстро написала мне адрес.

Я взял его без восторга.

– Сейчас вы с ней в дружбе? – спросил я.

Анна рассмеялась чуть раздраженно.

– Она моя сестра. Мы терпим друг друга. Почему бы тебе вообще ее не навестить, может, что и получится. – И она с сомнением поглядела на меня.

– Ну что ж, давай встретимся завтра и еще обсудим это дело.

Тогда Анна решилаь.

– Нет. Сходи повидай Сэди. А сюда не возвращайся, пока я не позову.

Она направилась к двери. Я взял ее за руку и обнял очень нежно. Она тоже крепко меня обняла. Мы расстались.

После того как затворилась дверь, я не услышал ни звука и несколько минут стоял как замороженный. В комнате уже совсем стемнело, а за окнами еще синел летний вечер, в деревьях и на реке дрожа переливались краски. Потом я услышал, как трогается с места машина. Я подошел к окну. Если немного высунуться, виден кусок переулка. Из-за угла мурлыча выплыл роскошный черный «альвис» и пополз к улице. Я подумал, сидит в нем Анна или нет. Сейчас это было мне почти безразлично. Что касается того, как нелов-

ко она от меня отделалась, то это было мне не внове. Почти все мои знакомые женщины так поступают, и я уже привык не задавать вопросов ни вслух, ни даже мысленно. Все мы знаем только кусочки чужих жизней и очень бы удивились, если б могли увидеть все. Я не сомневался, что тут замешан мужчина – с Анной всегда так бывало. Но думать об этом не к спеху.

Хорошо было побыть одному. Я прожил невыносимо насыщенный день и теперь тихо сидел, положив локти на подоконник и глядя в сторону Хэммерсмитского моста. Река, едва слышно журча, уносила последние остатки дневного света и наконец обратилась в черное, невидимое движение. Я перебрал в памяти свидание с Анной. Некоторые ее слова показались мне странными, но не об этом я думал. Я вспоминал ее жесты и как она нервно брала в руки то шарик, то ожерелье, вспоминал изгиб ее бедра, когда она лежала на полу, седые нити в волосах, усталую шею. Все это вызывало как будто новую любовь, в сто раз более глубокую, чем прежняя. Я был взволнован. И в то же время я думал об этом не без иронии. Я не раз и в прошлом бывал взволнован, и мало что из этого получалось. Твердо я знал одно: что-то осталось неприкосновенным из того, что между нами было; и, конечно же, оттого, что с тех пор прошло много времени, эти остатки сделались тем более драгоценными. Я с известным удовлетворением вспоминал нашу встречу и то, как замечательно Анна откликалась на прежние знаки.

Теперь на мосту зажглись фонари, и черная река вдалеке впадала в дробящуюся полосу света. Я отвернулся от окна и спотыкаясь добрел до двери. Выключатель щелкнул, и где-то в углу загорелась лампа, прикрытая во много слоев легкими платками. Анна не велела мне рыскать, но запрет был выражен туманно, и я решил, что немного порыскать можно. Мне очень хотелось снова побывать в крошечном зрительном зале, отчасти поэтому я и рискнул попросить у Анны позволения остаться. При тусклом свете я отыскал выключатель на площадке и, закрыв за собой дверь бутафорской, пошел к двери в зал. Я бы не удивился, если бы оказалось, что пантомима продолжается в темноте. Я взялся за ручку, но дверь оказалась заперта. Попробовал остальные двери на площадке, а потом все двери внизу, в холле. К великой моей досаде, все они были заперты. И тогда тишина этого дома стала душить меня, как туман, и внезапно меня объял страх, что сейчас я вернусь наверх и комната с реквизитом тоже окажется запертой. Я бесшумно взбежал по лестнице и ворвался в комнату. Лампа тускло горела, все было как прежде. Я подумал было выйти на улицу и попробовать проникнуть в зал через боковой вход, но какой-то дух запретил мне покидать пределы дома. Сняв с лампы два-три слоя материи, я оглядел комнату. Сейчас она выглядела еще более неправдоподобно. Я побродил из угла в угол, касаясь тех вещей, которые держала в руках Анна. Взгляд мой упорно тянулся к «грому», меня так и подмывало с разбега ударить по нему

кулаком. Я думал о том, какой великолепный шум в нем таится и как я мог бы заполнять им все здание. Я вообразил это так явственно, что чуть не вспотел. Но что-то принуждало меня хранить тишину, я даже ходил на цыпочках.

Спустя какое-то время у меня возникло противное чувство, что на меня смотрят. Я очень остро ощущаю чужой взгляд, и чувство это часто возникает у меня не только среди людей, но и в присутствии мелких животных. Однажды причиной его даже оказался большущий паук, устремивший на меня свои загадочные глаза. По моим наблюдениям, паук – самая мелкая тварь, чей взгляд можно почувствовать. Теперь я стал искать, что же это на меня смотрит. Ничего живого я не обнаружил, но в конце концов набрел на комплект масок, похожих на те, что видел на сцене; раскосые их глаза были скорбно обращены в мою сторону. Я, очевидно, бессознательно заметил их во время своих странствий по комнате. Теперь я как следует их рассмотрел, и меня поразила пугающая красота рисунка и безмятежность, которую выражали даже самые неприятные из них. Они были вырезаны из легкого дерева – одни анфас, другие в профиль – и слегка подкрашены. Было что-то чуть восточное в их выражении, таившееся, пожалуй, не столько в разрезе глаз, сколько в тонком изгибе рта. Некоторые определенно напомнили мне индийские статуи Будды, когда-то виденные. Все были чуть больше натуральной величины. Смотреть на них было неприятно, и скоро я, нервно поеживаясь, водворил их на место. Они глу-

хо стукнули, когда я выпустил их из рук, и от этого я вздрогнул и заново ощутил тишину. И тут я стал замечать, что комната полным-полна глаз – большие пустые глаза лошади-качалки, глаза-бусинки плюшевых мишек, красные глаза чучела змеи, глаза кукол, уродцев, бибабо. Мне стало жутко. Я снял с лампы остальные платки, но она давала мало света. В дальнем углу что-то мягко соскользнуло вниз. Я сел на пол посреди комнаты, скрестил ноги и постарался подумать о чем-нибудь осязаемом.

Я достал из кармана клочок бумаги, который дала мне Анна. Адрес был – Уэлбек-стрит. Я глядел на него и гадал, намерен ли я постучаться в дверь Сэди, а вернее, суждено ли мне это. По уже упомянутым причинам мне этого не хотелось. Но, с другой стороны, теперь, когда повидаться с ней мне предложила Анна, все выглядело по-иному. Если Анна и Сэди в дружбе, значит, общение с Сэди – один из способов не терять связи с Анной. Кроме того, мне уже становилось любопытно, как Сэди меня примет. И наконец, мало кто так свободен от земного тщеславия, чтобы, при прочих равных условиях, отказаться от дружеской встречи с женщиной, чье лицо красуется по всему Лондону на афишах в двенадцать футов высотой. Потом я подумал, как было бы здорово, если бы Сэди в самом деле уехала и оставила меня хозяином роскошной бесплатной квартиры на центральной улице. Перспектива была так заманчива, что ради нее стоило рискнуть нарваться на отказ. Я уже начинал верить, что хотя бы

расследую положение на Уэлбек-стрит.

Когда я чисто индуктивным путем достиг такого вывода относительно своих ближайших шагов, мне стало легче и сразу захотелось спать. Пол был так загроможден, что пришлось расчищать себе место. Вскоре показался кусок закапанного белого ковра. Тогда я стал искать, что бы употребить вместо одеяла. В тканях недостатка не было. В конце концов я остановил свой выбор на шкуре медведя, с мордой и когтями. Свет я не стал выключать, но опять накинул на лампу тонкие платки, так что она еле светилась. Мне не улыбалось проснуться среди ночи и оказаться в такой комнате одному в кромешной тьме. Потом я сунул руки и ноги в медвежьи лапы, а огромную оскаленную морду опустил себе на голову. Получился уютный спальный мешок. Я еще немножко подумал об Анне и о том, что она, черт возьми, затеяла. Нетрудно было поверить, что этот театр – ее идея; но тут явно поработала и еще чья-то мысль, и временами Анна, несомненно, говорила с чужих слов. И еще я подивился, откуда у нее взялись деньги. Наконец я зевнул и разлегся поудобнее. Подушкой мне служила восточная шаль. Какие-то мягкие предметы упали мне на ноги. Потом наступила тишина. Сон никогда мне не изменяет и, если позвать его, не заставляет себя долго ждать. Я уснул почти мгновенно.

Глава 4

На следующее утро, часов в десять, я шел по Уэлбек-стрит. Настроение у меня было скверное. При свете дня затея казалась куда менее привлекательной. Я чувствовал, что, получив щелчок от кинозвезды, надолго потеряю душевное равновесие. Но поскольку решение было принято, не выполнить его было нельзя. Этим методом я уже часто разрешал трудные проблемы. На первой стадии я рассматриваю тот или иной шаг как чистую гипотезу, а на второй уже считаю первую стадию твердым решением, от которого нельзя отступаться. Рекомендую эту технику всем, кому решения даются с известным трудом. Меня соблазняло вернуться в театр и попробовать еще раз увидеть Анну, но я боялся ее обидеть. Таким образом, оставалось одно – повидать Сэди и покончить с этим.

Квартира Сэди была на четвертом этаже, дверь стояла открытой. Появилась уборщица и сказала, что мисс Квентин нет дома. Затем эта простая душа сообщила мне, что мисс Квентин у парикмахера, и назвала модное заведение в Мэйфэре. (Из предосторожности я помянул, что прихожусь мисс Квентин родней.) Я поблагодарил ее и зашагал обратно к Оксфорд-стрит. Мне уже приходилось навещать женщин в парикмахерских, идея эта меня не страшила. Более того, женщины, по моим наблюдениям, особенно восприимчивы

и милосердны, когда навещаешь их в парикмахерской, может быть потому, что им приятно демонстрировать плененного представителя мужской половины рода человеческого стольким другим женщинам в минуту, когда те, бедняжки, не имеют своих поклонников при себе. Однако, чтобы играть эту роль, нужно выглядеть прилично, и я первым делом пошел побриться. Затем я купил себе на Оксфорд-стрит новый галстук, а старый выбросил. Поднимаясь по благоухающей парфюмерией лестнице парикмахерской, я мельком увидел себя в зеркале и решил, что вполне сойду за интересного мужчину.

Дамские парикмахерские подчинены некоему неисповедимому закону природы, гласящему, что в этой сфере, в отличие от других, чем дороже фирма, тем больше клиентки должны быть на виду. Какой-нибудь продавщице в Патни могут сделать прическу в уединении закрытой портьерами кабинки, но богатые женщины в Мэйфэре вынуждены сидеть рядами и подвергаться преобразению на глазах друг у друга. Я очутился в огромной комнате, где множество изящных головок находились в различных стадиях сборки. Передо мной тянулся ряд нарядно одетых спин, и, оглядывая их в поисках Сэди, я чувствовал, что за мной наблюдают из десятка зеркал, разделенных лампами под розовыми колпачками. Сперва я ее не нашел. Я двинулся вдоль ряда, заглядывая в каждое зеркало, и то молодые, то старые лица встречали мой взгляд из-под завитых и туго уложенных волос. В каждой па-

ре глаз читалось любопытство, так что я почувствовал себя принцем из сказки. Я был рад, что догадался потратиться на новый галстук. В конце ряда несколько голов было прикрыто урчащими электрическими сушилками. И здесь-то наконец я увидел в зеркале глаза, которые могли принадлежать только Сэди.

Я остановился и положил руки на спинку стула. Так я постоял, серьезно глядя в эти глаза, пока в ответном взгляде их обладательницы равнодушие не сменилось сначала враждебностью, а затем проблеском узнавания.

Сэди чуть взвизгнула, потом крикнула: «Джейк!»

Я чувствовал, что на нас смотрят. Я уже не жалел, что пришел сюда.

– Хэлло, Сэди! – сказал я, и в моей радостной улыбке не было ни капли притворства.

– Золото мое! – сказала Сэди. – Я тебя сто лет не видела. Вот хорошо-то! Ты меня искал?

Я сказал, что да, принес себе стул и уселся у нее за плечом. Мы улыбались друг другу в зеркале. Я решил, что мы интересная пара. Сэди выглядела прелестно, хотя волосы у нее и были стянуты сеткой; она ничуть не постарела, скорее наоборот. Даже с поправкой на розовые абажуры цвет лица у нее был безупречный, а карие глаза так и сверкали. Я невольно положил руку на ее плечо.

– Дуся ты мой! – сказала Сэди. – Что за проделки у тебя на уме? Расскажи мне все!

В ее голосе и манере была аффекация – это было что-то новое. И говорила она во весь голос и как-то необычайно звонко, так что каждое слово эхом отдавалось по всей комнате. Через минуту я нашел этому объяснение: оглушенная урчанием сушилки, она сама не понимала, как громко говорит.

Я ответил, тоже повысив голос:

– Да что, занимаюсь своей писаниной. Все книги, книги. Сейчас у меня их начато штуки три. От издателей просто отбою нет.

– Ты всегда был такой умный, Джейк! – восхищенно прокричала Сэди.

Если не считать шепота мастеров, в огромной комнате царило молчание, и я чувствовал, как все уши жадно впитывают наш разговор. Кто такая Сэди, было известно здесь всем, в этом не было сомнения, и я решил насладиться нашей беседой в полной мере.

– Ну как тебе живется? – спросил я.

– Скука смертная, – отвечала Сэди. – Работа просто выматывает. Вздохнуть некогда – с раннего утра до поздней ночи. Еле вырвалась сюда, чтобы хоть причесаться спокойно. С нашим студийным парикмахером я поругалась. Я так устала, что ругаюсь со всеми подряд. – И она одарила меня обольстительной улыбкой.

– Когда ты могла бы со мной пообедать, Сэди?

– Ох, миленький, я законтрактована на много дней впе-

ред. Даже сюда за мной приедут. Ты как-нибудь заходи выпить ко мне домой.

Я быстро кое-что прикинул. Очевидно, дни у Сэди заполнены до отказа, и, возможно, другого случая поговорить о деле не представится. Так что если уж поднимать щекотливый вопрос, то лучше не медлить.

– Сэди, послушай, – сказал я, понизив голос.

– Что, миленький? – прокричала Сэди из-под сушилки.

– Послушай! – прокричал и я. – Говорят, ты хочешь на время отъезда сдать свою квартиру!

Перед столь многочисленной публикой я не решился задать вопрос менее деликатно. Я надеялся, что у Сэди хватит такта ответить как нужно.

Ответная реплика Сэди превзошла все мои ожидания.

– И не подумаю, – сказала она. – Мне нужен кто-нибудь стеречь квартиру, и даже более того – мне нужен телохранитель, так что можешь приступать хоть сегодня.

– Что ж, с удовольствием. У меня как раз истек срок аренды, и я, можно сказать, бездомный бродяга.

– Тогда переезжай немедленно! – заорала Сэди. – Ты меня страшно выручишь, если просто побудешь у меня немножко. Понимаешь, меня сейчас преследует совершенно невыносимый человек.

Это звучало интригующе. Чувствовалось, что окружающие нас уши наострились. Я засмеялся, как истый мужчина.

– Ну, кулаки-то у меня крепкие. Я сумею навести в этом

деле порядок. Только с условием, чтобы я мог и поработать. – Мне уже мерещилось что-то даже лучшее, чем Эрлс-Кортроуд.

– Дорогой мой, квартира необъятная. Можешь занять хоть четыре комнаты. Просто мне будет спокойнее, если ты поживешь там до моего отъезда. Этот тип влюблен в меня до безумия. Он врывается во всякое время дня и ночи, а не то звонит по телефону. Просто никакие нервы не выдерживают.

– Меня ты, надеюсь, не будешь бояться? – спросил я, двусмысленно ухмыляясь ей в зеркало.

Сэди хохотала долго и звонко.

– Ну что ты, Джейк, золотко, ты же вполне безобидный! – выкрикнула она.

Такой поворот мне не понравился. Краешком глаза я заметил, что несколько нарядных женщин вытянули шеи, стараясь меня разглядеть. Я решил, что пора переменить тему.

– И кто же эта невыносимая личность? – спросил я.

– В том-то и ужас, что это сам шеф, Белфаундер. Так что представляешь, как это все неудобно. Я просто сама не своя.

При звуке этого имени я чуть не свалился со стула. Комната пошла кругами, и Сэди я различал как сквозь туман. Это в корне меняло дело. Отчаянным усилием я сохранил спокойное выражение лица, но желудок мой бунтовал, как бешеная кошка. Мне хотелось одного – уйти и обдумать эту поразительную новость.

– А ты уверена? – спросил я Сэди.

– Ну сам посуди, неужели я не знаю, у кого работаю?

– Я не о том. Ты уверена, что он в тебя влюблен?

– Влюблен до потери сознания, – сказала Сэди. – А кстати, как ты узнал, что мне нужен сторож?

– Анна сказала, – ответил я. Теперь мне было не до уверток.

Глаза Сэди в зеркале холодно блеснули.

– Ты опять видишься с Анной?

Я терпеть не могу такие намеки.

– Ты ведь знаешь, мы с Анной старые друзья.

– Да, но ты же не видел ее бог знает сколько времени, разве не так? – спросила Сэди громче прежнего.

Разговор наш стал мне решительно неприятен. Я не чаял, как уйти.

– Я довольно долго прожил во Франции.

Сэди едва ли была подробно осведомлена о жизни своей сестры. Сейчас лицо ее стало сосредоточенно-зловным. Она сделалась похожа на красивую змею; и у меня мелькнула странная фантазия, что, вздумай я заглянуть под сушилку, не на отражение, а на самое лицо, я увидел бы страшную старую ведьму.

– Ну что ж, приходи во вторник пораньше, – сказала Сэди. – Я введу тебя во владение. А насчет обязанностей телохранителя – это я серьезно.

– С восторгом, моя дорогая, – произнес я, как автомат. – Приду непременно. – И я поднялся. – А сейчас мне нужно

повидаться с издателем.

Мы обменялись улыбками, и я зашагал к двери, провожаемый множеством восхищенных женских глаз.

Я еще не упоминал о том, что знаком с Белфаундером. Поскольку мои отношения с Хьюго – главная тема этой книги, не было смысла забегать вперед. Вы еще услышите об этом более чем достаточно. Для начала я, пожалуй, сообщу вам кое-что о самом Хьюго, а потом расскажу, при каких обстоятельствах мы познакомились, и немножко – о ранней поре нашей дружбы.

Белфаундер – не настоящая его фамилия. Родители его были немцы, и фамилию Белфаундер его отец принял, когда переселился в Англию. Он вычитал ее как будто бы на надгробном камне сельского кладбища в Глостершире и решил, что она подойдет для деловой карьеры. Так оно, видимо, и было, потому что, когда пришло время, Хьюго получил в наследство процветающий военный завод и фирму «Белфаундер и Берман» по производству стрелкового оружия. К несчастью для фирмы, Хьюго был в то время заядлым пацифистом, и в результате различных пертурбаций Берман вышел из дела, а у Хьюго осталось небольшое предприятие, получившее впоследствии вывеску – «Акц. о-во Белфаундер – Ракеты и фейерверки». Он ухитрился превратить военный завод в пиротехнический и несколько лет занимался производством ракет, сигнальных патронов Вери, динамита для

бытовых нужд и всевозможных фейерверков.

Как я уже сказал, поначалу предприятие было скромное. Но деньги как-то всегда липли к Хьюго, он просто не мог их не наживать; и вскоре он уже был очень богат и процветал почти так же, как в свое время его отец. (Процветать *совсем* так же, как фабрикант оружия, не дано никому.) Однако жил он всегда просто и в ту пору, когда я с ним познакомился, периодически работал художником на собственной фабрике. Специальностью его были композиции. Как вы, вероятно, знаете, создание фейерверка-композиции – работа чрезвычайно искусная, требующая и физической сноровки, и творческой изобретательности. Своеобразные тонкости этого ремесла увлекали и вдохновляли Хьюго: точнейшее соотношение частей, контрастные эффекты взрыва и цвета, слияние пиротехнических стилей, методы сочетания силы блеска и продолжительности, извечный вопрос концовки. Хьюго смотрел на свои композиции как на симфонию; фейерверки-картины он считал вульгарными и от души презирал. «Фейерверк – это нечто *sui generis*⁷, – сказал он мне однажды. – Если уж сравнивать его с другим искусством, так разве что с музыкой».

Фейерверки таили в себе для Хьюго неизъяснимую прелесть. Мне кажется, его больше всего пленяла их недолговечность. Помню, он пытался внушить мне, что фейерверк – это что-то очень *честное*. Всякому ясно, что это всего лишь

⁷ Своего рода, стоящее особняком (*лат.*).

мимолетная вспышка красоты, от которой через минуту ничего не останется. «В сущности, таково же всякое искусство, – говорил Хьюго, – только мы не любим признавать это. Леонардо это понимал. Он нарочно создал свою „Тайную вечерю“ такой непрочной». По теории Хьюго, человек, наслаждаясь фейерверками, учится наслаждаться любым земным великолепием. «Получаешь за свои деньги удовольствие и в точности знаешь, когда оно кончится, – говорил Хьюго. – О фейерверках никто не болтает профессиональной чепухи».

К сожалению, он ошибался, и его теории оказались губительны для его же мастерства. На композиции Хьюго появился огромный спрос. Без них не обходился ни один шикарный вечер в загородном доме, ни одно общественное празднество. Их даже вывозили в Америку. А потом за дело взялись газеты – стали называть их произведениями искусства и делить на стили. Отвращение, которое испытывал от этого Хьюго, не давало ему работать. Вскоре он прямо-таки возненавидел свои композиции, а еще через некоторое время совсем их забросил.

Своим знакомством с Хьюго я обязан насморку. У меня это был период острого безденежья, и мне приходилось очень и очень туго, пока я не обнаружил некое до смешного великодушное учреждение, где я мог получить бесплатную квартиру и стол в обмен на то, что предоставлял себя в качестве морской свинки для опыта по лечению насморка. Опыт проводился в прелестном загородном доме, где можно было

оставаться сколько угодно времени, подвергаясь различным видам заражения и лечения. Насморк я не люблю, а из способов лечения, которые на мне пробовали, ни один как будто не дал хороших результатов; но, с другой стороны, я жил на всем готовом и работать с насморком вполне можно привыкнуть. Это даже неплохая тренировка для жизни в более нормальных условиях. В общем, я там писал довольно много, во всяком случае до того, как появился Хьюго.

Руководители этого благотворительного учреждения рекомендовали своим жертвам селиться парами, поскольку, как было указано в проспекте, лишь немногие люди способны переносить полное одиночество. Я и сам, как вы знаете, не люблю одиночества, но после нескольких попыток пришел к выводу, что общество болтливых дураков еще хуже, и, возвратившись под эту отрадную сень на второй срок, попросил дать мне отдельную комнату. В самом деле, такая изоляция, комфортабельная и не слишком строгая, как нельзя лучше меня устраивала. Мне пошли навстречу; но только что я втянулся в работу, а заодно и в борьбу с особенно жестоким насморком, как мне объявили, что в доме не хватает мест и придется мне все-таки принять к себе сожителя. Выбора не было, я согласился и, надо сказать, очень неласково посмотрел на огромного лохматого субъекта, который ввалился в комнату, положил вещи на кровать и уселся за второй стол. Я что-то сердито промывчал в знак приветствия, ясно давая понять, что с болтунами не знаюсь. Еще больше

меня обозлило то обстоятельство, что меня только заразили, а сосед получил и насморк, и лечение, так что, пока я чихал, задыхался и дюжинами изводил бумажные носовые платки, он полностью сохранял человеческое достоинство и казался воплощением здоровья. Я так и не уяснил себе, по какому принципу проводился опыт, но насморков мне, сколько помнится, всегда доставалось больше нормы.

Я боялся, что мой сосед окажется болтуном, но вскоре выяснилось, что опасения мои напрасны. В первые два дня мы не обменялись ни единым словом. Казалось, он вообще не замечает моего присутствия. Он не писал и не читал, а проводил почти все время, сидя у стола и глядя на зеленые кусты и лужайки за окном. Иногда он что-то бормотал про себя или вполголоса произносил какую-нибудь фразу. У него была привычка кусать ногти, а однажды он достал перочинный нож и до тех пор ковырял им мебель, пока один из служителей не отобрал у него это орудие. Сперва я заподозрил, что он слегка помешан. На второй день я даже стал его побаиваться. Он был рослый и толстый, с широченными плечами и огромными ручищами. Массивная голова была обычно втянута в плечи, а задумчивый взгляд все прослеживал в комнате или за окном воображаемую линию, не соединявшую, казалось, никаких предметов, попадавших в его поле зрения. У него были темные спутанные волосы. Большой бесформенный рот время от времени раскрывался, чтобы выпустить какие-то нечленораздельные звуки. Изредка он начинал что-

то напевать себе под нос, но тотчас умолкал – это был единственный признак того, что он ощущает мое присутствие.

К концу второго дня я почувствовал, что работать больше не в силах. Снедаемый одновременно раздражением и любопытством, я тоже стал смотреть в окно, сморкаясь и придумывая, как бы установить человеческое общение, без которого просто невозможно было жить дальше. В конце концов я без всяких дипломатических уловок спросил, как его зовут. Когда он прибыл, нас представили друг другу, но я не слушал и не запомнил. Он обратил на меня взгляд очень добрых темных глаз и назвался: «Хьюго Белфаундер». Потом добавил: «Я думал, вам не хочется разговаривать». Я сказал, что, напротив, люблю поговорить, но в день его приезда был поглощен одним вопросом и прошу извинить меня, если вел себя грубо. Когда он заговорил, у меня создалось впечатление, что он не только вполне нормален, но и очень умен; и я почти машинально стал складывать свои бумаги. Мне уже было ясно, что работать я больше не буду, ибо оказался один на один с интереснейшим человеком.

С этой минуты у нас с Хьюго начался разговор, подобного которому я не мог себе и представить. Мы быстро рассказали друг другу свои биографии, причем я, во всяком случае, проявил несвойственную мне правдивость. А потом мы стали обмениваться мнениями об искусстве, политике, литературе, истории, религии, науке, обществе и вопросах пола. Мы говорили не смолкая весь день. Часто до поздней ночи.

Иногда мы так орали и смеялись, что получали замечания от начальства, а один раз нас пригрозили расселить. В разгар нашей беседы очередной курс эксперимента закончился, но мы тут же завербовались на следующий. В конце концов у нас завязался спор, тема которого имеет отношение к настоящей повести.

Хьюго часто называют идеалистом. Я скорее назвал бы его теоретиком, хотя и очень своеобразным. У него не было ни практических интересов, ни нравственной серьезности, присущих тем, на кого обычно наклеивают ярлык «идеалист». Это был самый объективный и беспристрастный человек, какого я встречал, но объективность его была не столько добродетелью, сколько врожденным даром, и сам он совершенно ее не сознавал. Выражалась она даже в его голосе и манере держаться. Ясно помню его таким, каким часто видел во время наших бесед, когда он, наклонившись вперед и кусая ногти, возражал на какую-нибудь мою непродуманную сентенцию. Он был медлительный спорщик. Медленно раскрывал рот, опять закрывал его, опять раскрывал и наконец решался. «Вы хотите сказать...» – начинал он и пересказывал мои слова конкретно и просто, после чего моя мысль либо оказывалась много понятнее и глубже, либо оборачивалась полнейшей чепухой. Я не хочу сказать, что Хьюго всегда был прав. Иногда он совершенно не понимал меня. Довольно скоро я обнаружил, что лучше его осведомлен почти обо всех предметах, которых мы касались. Но когда мы, с его

точки зрения, заходили в тупик, он очень быстро замечал это и говорил: «На это я ничего не могу сказать» или «Боюсь, тут я вас совсем, совсем не понимаю», причем говорил так решительно, что тема отпадала. И направлял разговор с начала до конца не я, а Хьюго.

Его интересовало все на свете, интересовала теория всего на свете, но, как я уже сказал, очень своеобразно. У него были теории на все случаи, а одной, основной теории не было. Я не встречал человека, столь начисто лишённого того, что можно было бы назвать философским мировоззрением. Скорее, пожалуй, он старался докопаться до сути всего, что попадалось ему на пути, и всякий раз подходил к делу с абсолютно свежим восприятием. Следствия этого бывали поразительны. Помню один наш разговор – о переводе. Хьюго о переводе понятия не имел, но, узнав, что я переводчик, пожелал понять, что это такое. Посыпались вопросы: что значит – вы обдумываете смысл по-французски? Откуда вы знаете, что думаете по-французски? Если вы представляете себе какую-то картину, откуда вы знаете, что она французская? Или вы мысленно произносите французские слова? Что вы видите, когда убеждаетесь, что перевод верен? Может, вы воображаете, что подумал бы кто-нибудь другой, увидев его в первый раз? Или это просто такое ощущение? Какое именно? Вы не можете описать его подробно? И так далее, и так далее, с невообразимым терпением. Иногда это выводило меня из равновесия. Самая простая, на мой взгляд,

фраза под упорным нажимом Хьюго с его вечными «Вы хотите сказать...» становилась темным, загадочным изречением, которого я уже и сам не понимал. Процесс перевода, раньше казавшийся мне яснее ясного, представлялся теперь столь сложным и необычайным, что оставалось только диву даваться, как кто-либо вообще может его осуществить. Но в то же время расспросы Хьюго почти всегда проливали новый свет на те предметы, которых он касался. Для Хьюго все было удивительно, чудесно, замысловато и таинственно. Во время наших разговоров я точно заново увидел весь мир.

Вначале я все пытался как-то «определить» Хьюго. Раза два я прямо спросил его, придерживается ли он той или иной общей теории, но он всегда отрицал это с таким видом, словно обижен проявлением дурного вкуса. Позднее мне и самому стало казаться, что задавать Хьюго такие вопросы – значит игнорировать его неповторимую умственную и нравственную сущность. Я понял, что никаких общих теорий у него нет. Все его теории, если можно их так назвать, были частные. И все же мне думалось, что при известном усилии я сумею проникнуть в средоточие его мыслей, так что я с особенной горячностью обсуждал с ним уже не политику, искусство или вопросы пола, а особенности его подхода к вопросам пола, искусству или политике. Наконец у нас состоялся-таки разговор, затронувший, как мне казалось, какую-то центральную мысль в сознании Хьюго, если применительно к сознанию Хьюго можно говорить о чем-то столь кон-

кретном, как центр. Сам он, вероятно, стал бы это отрицать; вернее, он бы просто не понял, как мысли можно разделить на центральные и боковые. Все началось со спора о Прусте. От Пруста мы перешли к обсуждению того, что значит описать какое-то чувство или душевное состояние. Хьюго считал, что в этом нелегко разобраться (как, впрочем, и во всем остальном).

– Описывать человеческие чувства как-то непорядочно, – сказал Хьюго. – Все эти описания такие эффектные...

– А чем это плохо? – спросил я.

– Тем, что это значит: с самого начала допущена фальшь. Если я постфактум говорю, что я испытывал то-то и то-то, скажем, что мною владело предчувствие, это просто неправда.

– То есть как?

– Да я этого не испытывал. В то время я не чувствовал ничего подобного. Это я только потом говорю.

– Но если очень постараться быть точным?

– Это невозможно, – сказал Хьюго. – Единственный выход – молчать. Стоит мне начать что-то описывать, и я пропал. Вот попробуйте что-нибудь описать, хотя бы эту нашу беседу, и вы увидите, что невольно начнете...

– Приукрашивать ее? – подсказал я.

– Тут дело серьезнее. Самый язык не даст вам изобразить ее такой, какой она была.

– Ну а если описать ее тут же, одновременно?

– Как вы не понимаете, – сказал Хьюго, – тогда-то и обнаружится обман. Нельзя дать одновременное описание, не понимая, что оно неверно. В то время можно было в лучшем случае сказать что-нибудь насчет того, что у вас билось сердце. Но сказать, что вами владело предчувствие, – это только попытка произвести впечатление, это погоня за эффектом, это ложь.

Тут и я призадумался. Я чувствовал в рассуждениях Хьюго какую-то ошибку, но в чем она, не мог понять. Мы еще немного поспорили, потом я сказал:

– Но тогда и все, что мы говорим, своего рода ложь, кроме разве таких вещей, как «Передайте мне джем» или «На крыше сидит кошка».

Хьюго ответил не сразу.

– Пожалуй, что и так, – произнес он серьезно.

– Значит, разговаривать не следует, – сказал я.

– Пожалуй, что и так, – отозвался Хьюго без тени улыбки. А потом я поймал его взгляд, и мы покатались со смеху, вспомнив, что много дней подряд только и делали, что разговаривали. – Это колоссально! – сказал Хьюго. – Конечно, разговаривать приходится. Но, – и он опять посерьезнел, – на потребность общения делают слишком много скидок.

– Это как же понимать?

– Когда я говорю с вами, даже сейчас, я все время говорю не *в точности* то, что думаю, а то, что может вас заинтересовать и вызвать отклик. Даже между нами это так, а уж там,

где для обмана есть более сильные побуждения, – и подавно. К этому так привыкаешь, что уже перестаешь замечать. Да что там, язык вообще машина для изготовления фальши.

– А что бы случилось, если б все стали говорить правду? – спросил я. – По-вашему, это возможно?

– Я по себе знаю, – сказал Хьюго, – что, когда я действительно говорю правду, слова слетают с моих губ мертвыми и на лице моего собеседника не отражается абсолютно ничего.

– Значит, мы никогда по-настоящему не общаемся?

– Как вам сказать. *Поступки*, по-моему, не лгут.

Чтобы достигнуть этой точки, нам потребовалось пять или шесть курсов лечения. Мы приспособились болеть насморком по очереди, чтобы ослабление умственной деятельности, буде он такое вызывает, распределялось поровну. На этом настоял Хьюго; сам я охотно взял бы все насморки на себя – отчасти потому, что в мое отношение к Хьюго вкралось желание опекать его, отчасти же потому, что Хьюго, когда у него насморк, производит невыносимый шум. Не знаю, почему нам не пришло в голову, что продолжать наши беседы мы можем и за стенами насморочного заведения. Возможно, мы боялись сделать перерыв. Трудно сказать, когда мы догадались бы выехать по собственному почину, но в один прекрасный день нам предложили освободить палату – начальство опасалось, как бы дальнейшие насморки вконец не подорвали наше здоровье.

К этому времени я совсем подпал под обаяние Хьюго. Сам

он, видимо, и не замечал, насколько сильно его воздействие на меня. У него не было ни малейшего желания меня переспорить, и хотя он нередко припирали меня к стенке, но делал это как бы невзначай. Не то чтобы я всегда с ним соглашался. Его неспособность понять ту или иную мысль часто меня раздражала. Но самый его способ мышления показал мне, как безнадежно мое видение мира затемнено обобщениями. Я испытывал чувство человека, который, смутно представляя себе, что все цветы более или менее одинаковы, отправился на прогулку с ботаником. Впрочем, это сравнение тоже не подходит к Хьюго, потому что ботаник не только замечает подробности, но и классифицирует. Хьюго только замечал подробности. Он никогда не классифицировал. Кажется, зрение его обострено до такой степени, что классификация уже немыслима, поскольку каждый предмет видится как единственный и неповторимый. Я чувствовал, что впервые в жизни встретил почти абсолютно правдивого человека, и это, естественно, меня тревожило. И я тем более был склонен ценить в Хьюго духовное благородство, что сам он и в мыслях не приписал бы себе этого свойства.

Когда нас выставили из опытного заведения, мне было негде жить. Хьюго предложил мне жить у него, но тут во мне заговорила жажда независимости. Я чувствовал, что индивидуальность Хьюго с легкостью может поглотить мою, а этого я не хотел, несмотря на все мое восхищение им. Так что от его предложения я отказался. К тому же мне как раз

нужно было съездить во Францию повидать Жан-Пьера – он что-то разворчался по поводу одного из переводов, – так что наша беседа на время прервалась. Хьюго опять поступил на свой ракетный завод, погрузился в разработку новых композиций и вообще вернулся к своему лондонскому образу жизни. Его попытки нарушить этот образ жизни всегда принимали какую-нибудь эксцентричную форму; неумение отдохнуть нормально, с комфортом и затратой больших денег, было единственной сколько-нибудь неврастенической чертой, какую я в нем обнаружил. Вернувшись из Парижа, я снял дешевую комнату в Бэттерси, и наши беседы возобновились. После работы Хьюго встречался со мной на Челсийском мосту, и мы бродили по набережной Челси или заглядывали подряд во все кабаки на Кингс-роуд и говорили, говорили до изнеможения.

Однако незадолго до этого я предпринял один шаг, оказавшийся роковым. Разговор, из которого я выше привел небольшой кусок, так заинтересовал меня, что я кое-что из него записал – просто для памяти. Когда я через некоторое время взглянул на эти заметки, они показались мне очень отрывочными и неполными, и я кое-что к ним добавил, чтобы не забыть. Еще через некоторое время я опять к ним вернулся, и мне показалось, что наш спор в том виде, как он закреплен на бумаге, лишен всякого смысла. Я добавил еще немного, чтобы он стал понятен, все по памяти. И тут, когда я перечел написанное, меня поразило, что это не так уж пло-

хо. Ничего похожего я еще не читал. Я просмотрел текст заново и немножко причесал его. Как-никак я по натуре писатель, и раз вещь написана, так почему не придать ей приличный вид. Я основательно ее подчистил, а потом начал записывать и предыдущий разговор. Оказалось, что его я помню не так хорошо, поэтому, воссоздавая его, я черпал материал из нескольких разных бесед.

Хьюго я, конечно, об этом не рассказал. К чему – ведь запись я делал только для себя. Правда, в глубине души я знал, что в некотором роде предаю все то, чему я, как мне казалось, научился от Хьюго. Но это меня не остановило. Более того, работа эта приобрела притягательную силу тайного порока. Я уже не расставался с ней. Я расширил ее, включив еще много наших разговоров, причем записывал их не всегда так, как помнил, а сообразуясь с планом всей вещи. Начала вырисовываться целая книга. Я писал ее по-прежнему в форме диалога между двумя лицами, которых назвал Тамарус и Аннандайн. Любопытнее всего, что мне было ясно: эта книга с начала до конца – объективное оправдание позиции Хьюго. Другими словами, она и в самом деле была фальсификацией наших бесед. По сравнению с ними это была претенциозная фальшь. Хотя я и написал ее только для себя, было ясно, что она пишется ради эффекта, ради впечатления. Самые значительные моменты нашего разговора были те, которые, если бы записать их, прозвучали бы наиболее плоско. Я не мог заставить себя изобразить их с той откоро-

венностью, какой они были отмечены в жизни. Я все время делал их более оформленными и связными. Но хоть я и видел, что получается фальшь, книга от этого нравилась мне не меньше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.